



В. БРАГИН
ИСКАТЕЛИ
УТРАЧЕННОГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





SHILOV



Сканировал и создал книгу - vtaкhankov

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



МОСКВА ~ 1974

В. БРАГИН

ИСКАТЕЛЬ
УТРАЧЕННОГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

*Фантастическая
повесть*

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Случайно попавший в руки писателя Нестерова листок с обрывками судебного дела революционера Веригина, жившего в середине XIX века, заинтересовал Нестерова. Еще более возбудило его любопытство то, что этот неизвестный Веригин просил суд передать в Академию наук его изыскания по продлению жизни человека на тысячу лет. Поиск дневника исследователя, предпринятый Нестеровым и доведенный им после многих приключений до конца, и составляет содержание этой фантастической повести.

* * *

Автор этой книги Владимир Григорьевич Брагин (1896—1972) известен нашим читателям своими произведениями «В стране дремучих трав», «Оранжевое кружево», «С добрым утром, моя страна!» и др.

Рукопись книги «Искатель утраченного тысячелетия» осталась незавершенной в связи со смертью писателя и была доработана литератором Качаловой М. Н.

Рис. Е. Куманькова

Брагин В. Г.

Б87 Искатель утраченного тысячелетия. Фантастическая повесть. Рис. Е. Куманькова. М., «Дет. лит.», 1974.

240 с. с ил. (Б-ка приключений и научной фантастики).

Фантастическая повесть, посвященная поискам дневника и научных записей Веригина — исследователя, жившего в середине прошлого века, которому удалось найти секрет долголетия.

Б $\frac{70803-508}{M101(03)74}$ 490—74

Р2

ПОИСКИ НЕВОЗМОЖНОГО

Первый научно-фантастический роман Владимира Брагина «В стране дремучих трав», вышедший еще в 1948 году и многократно переиздававшийся, рассказывал о приключениях человека, который хотел разгадать тайну полета насекомых: он нашел чудесный способ уменьшить свой размер и сам принял размер муравья.

Человек бросил прошлое, оставил любимую женщину. Но он хочет сообщить людям об открытиях, которые он уже сделал. Он пишет микроскопические письма, и его почтальонами оказываются бабочки. Но письма пропадают.

На поиски героя Думчева случайно направляется другой человек, человек, тоже верящий в невозможное.

В результате он находит гениального исследователя. Думчев возвращен в мир людей.

Наука посылает человека к невероятно далеким целям.

Ученый, занимавшийся жизнью насекомых, Фабр, описал нам жизнь пчел, муравьев и ос. Сейчас мы знаем о пчелах гораздо больше, чем Фабр.

Мы знаем о мире других целесообразностей, других решений жизни органических существ. Мы иногда пытаемся им подражать и видим, как сегодня многое осуществляется в технике.

Сегодня мы знаем много больше того, что знал Брагин почти столетия назад. Но оптимизм книги, вера в движение науки — в движение все убыстряющееся, — делает книгу «В стране дремучих трав» и сейчас занимательной.

Вместе с тем с ней происходит то, что происходит с романами Жюль Верна: фантастический роман становится романом по истории техники.

В новой книге Владимира Брагина, ныне умершего писателя, поставлена задача, которую мы не скоро решим. Задача долголетия.

В Москве вокруг храма в селе Коломенском стоят семисотлетние дубы; они или ровесники Москвы, или старше ее. В Америке растут деревья, возраст которых равен возрасту пирамид.

Как будто бы тайна долголетия (может быть, и тайна бессмертия?) должна быть решена разгадкой жизни растений.

Роман «Искатель утраченного тысячелетия» интересен. Он начинается с нахождения в 1965 году загадочных листков, пошедших на обертку вишен. Разрозненные листки... Но из них узнается история поиска растения (дерева), которое содержит в себе секрет долголетия.

Такие деревья, которые автор описывает как реально существующие в Южной Америке, сами по себе почти бессмертны.

Передать человеку это удивительное свойство некоторых представителей растительного мира — в этом цель всей жизни героя романа, Дмитрия Веригина.

Он — молодой ученый, передовой человек своего времени (60-е годы XIX века), попадает в ссылку: во имя спасения целой организации Веригин принял на себя обвинение в распространении «Колокола» Герцена. И его самоотверженный поступок тяжко осложнил всю его дальнейшую жизнь. После побега из ссылки он в конце концов попадает в Гвиану.

Роман сложен и занимателен. Он героичен, полон оптимизма. Пусть тайна «бессмертия» не раскрыта до конца... Но мечтать о невозможном полезно.

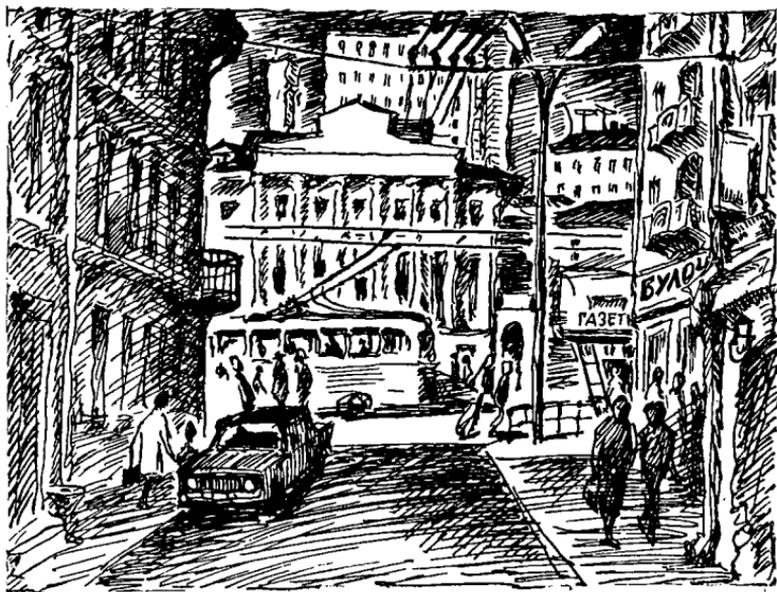
О невозможном мечтали великие люди.

Сколько возможных решений было отвергнуто слишком благоразумными людьми! Этот список потерь, сделанных слишком благоразумными людьми, включен в роман.

Наука и Техника своими заданиями опережают время. Время освоения оказывается долгим, а эпоха нуждается в неизмеримо дерзких планах.

Как мы решим вопрос долголетия, как мы создадим долголетие без старости — это нам неизвестно. Но роман оптимистичен. Он может существовать, потому что человечество нуждается в постановке задач, которые сегодня кажутся сверхневозможными.

Виктор Шкловский



Часть первая

ПРОДЕЛКА СОЛНЕЧНОГО ЗАЙЧИКА

МУСОРНАЯ УРНА

У... У... У... И пронеслись, пронеслись под луной мимо дачной железнодорожной платформы ночные скорые поезда. Неутомимые! Они бросали на полном ходу неожиданный оглушительный рев и платформе, что поднялась над путями, и луне, что висела над ней, и лесу, что подступил к рельсам.

Поезда пронеслись и зарывались в синь темной летней ночи — они спешили к морю. Скорей! Скорей!

И какое дело им до мусорной урны — чугунной тяжелой амфоры с белой облезлой краской на рельефе из каких-то несусветных цветов и листьев, — урны, что стоит между двумя скамейками на дачной платформе Зеленцо-

во. Да и на всем белом свете никому не было и нет дела до этой урны.

А ведь я бросил в нее... Стоп!.. Точка! Яснее скажу потом.

...Все напряженнее рылся я в урне.

Неужели не найти? Не может быть!

И росла, росла возле урны куча мусора: коробки от спичек, коробки от папирос и сигарет, скорлупа яиц, окурки, мятые банки из-под консервов, липкие бумажки из-под мороженого...

И когда не слышно было поездов, казалось, что на всем белом свете остались только луна, дощатая платформа, лес и урна. Да еще там, в конце платформы, одинокий фонарь да огонек 25-ваттной лампочки в будке билетной кассы.

Вот и с последнего дачного поезда сошли усталые люди. В темноте постепенно затихли последние шаги.

На платформе возле урны я остался один. Искать... искать...

Тишина. Глубокая ночь. Луна зашла за лес.

Как тускло светит электрический фонарик в моей руке! Неужели батарейка кончается?

Я заторопился. Но свет фонарика слабел, слабел... иссяк...

Где-то в кармане было полкоробки спичек. Ах, как быстро сгорели спички!.. Одна... другая... последняя!

— Гражданин! Чем вы здесь занимаетесь? Зачем жжете спички над мусором? Пожара захотели? Час поздний. Пора спать. Освободите платформу!

— Товарищ милиционер... простите, товарищ старший сержант! Тут в урну я по рассеянности бросил такой... такой документ.

— Пропуск на завод?

— Важнее!

— Командировочное удостоверение?

— Важнее!

— Паспорт?

— Ох, совсем другое... Тайну бессмертия!

— Не чудите, гражданин, — успокоительно, но твердо сказал милиционер после небольшой паузы. — Кассиршу в том окошечке видите? За вас давно переживает. Подсказала...

— Спасибо, девушка! — крикнул я из тьмы и услы-

шал, как стремительно захлопнулась дверь будки. «Молодец! — подумал я. — Решила, видно, что я опасен, сообщила в милицию и осталась в своей билетной кассе до прибытия старшего сержанта».

— А все же, гражданин, я обязан проверить вашу личность.

Я назвал себя.

— Мало! Что имеется при вас?

— Вот... удостоверение...

— Что-то не походи на себя!

— Понятно: снимался четверть века назад. Ведь время-то идет! Годы человека не забывают. Вот если в этой мусорной урне найду то, что ищу, листки, на которых...

— Уважайте труд уборщиц, гражданин! Мусор этот вокруг урны кто за вас убирать будет?

— Сам уберу! Поймите, товарищ старший сержант, ведь речь идет ни мало ни много — о человеческом бессмертии, о вечной юности. Когда-то люди поняли, что Земля вертится. И это было очень важно для науки, для всей жизни. А то, что здесь я ищу, может оказаться поважнее открытия вращения Земли и многих-многих других великих открытий! А мусор... все как есть сам уберу.

Милиционер участливо улыбнулся:

— Сами уберете?

— Непременно!

— Только спички жечь не придется, гражданин, — убрав улыбку, строго сказал милиционер. — Что ж! Если этот мусор вам для нахождения научного документа требуется, ждите рассвета. Но порядок! О порядке забывать не следует.

— Подожду! Обещаю. И сам все уберу. Не беспокойтесь, товарищ старший сержант!

Поднес руку к фуражке и ушел, улыбаясь, милиционер.

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

И вот я сижу на платформе маленькой станции Зеленово. Жду рассвета.

Как все произошло? Я стал вспоминать.

Сегодня утром... Ну конечно, все началось сегодня утром. С солнечного зайчика.

Сегодня, 5 августа 1969 года, в жаркий воскресный день, залетел в мою комнату солнечный зайчик, зыбкий, острый. Он помедлил на моей руке. Скользнул по бумаге, улетел. Не будь его, я не поехал бы за город. А уж там, в дачном вагоне, не встретил бы... Но об этом потом.

Дело было вот как.

Маленькая в Москве улица со странным названием «Ленивка» не спеша сбегала к Москве-реке. Улица узенькая, очень старенькая, и само название очень старое (говорят, при Иване Грозном здесь был «ленивый» рынок). Может, был, может, не был... Но еще сегодня осталось название самой маленькой улицы в Москве: Ленивка.

Солнечное воскресное утро стояло в тот день в Москве. И вот в моей большой светлой комнате старого дома на Ленивке стали появляться на полу и на стенках светотени. Зайчики. Появлялись. Скакали и замирали на своих местах. Исчезали. Все понятно: ведь в большом, пятиэтажном доме напротив люди стали открывать окна, двери балконов, форточки.

Я сидел за столом и писал. Но вдруг по бумаге скользнул солнечный зайчик. Он помедлил на моей руке и сразу же метнулся на стену, промчался по потолку и опять вернулся ко мне. Опять легкое, едва уловимое, словно теплое прикосновение. Я оторвался от работы. На балконе дома напротив сидели два мальчика. Один, лет семи, худенький, длинный, с рыжей копной волос (наверно, веснушчатый и с озорными глазами), держал в руках зеркальце. Другой мальчик, полный, с очень серьезным лицом, поднес к глазам бинокль и то и дело наклонялся к своему другу — отдавал приказания. И летели во все концы маленькой улицы солнечные зайчики.

— Эй! Вахтенный! — донеслось до меня, и тут маленький «капитан» наклонился к своему помощнику: — Подать солнечный знак людям на берегу неведомой Земли!

И снова стал гулять по моей комнате зайчик... Прятался, возникал, исчезал...

Приказание за приказанием — отрывистые, четкие — отдавал полный мальчик, держа в руках бинокль.

Неожиданно я, не сходя с места, почувствовал себя вовлеченным в эту игру.

Пружины работы, ради которой я сел за стол, стали ослабевать.

Не откладывая пера, я смотрел то на бумагу, то на мальчиков на балконе.

А «капитан», разглядывавший маленькую улицу в бинокль, все громче выкрикивал слова команды:

— Струю света направить... под углом сорок пять градусов!

— Есть направить под углом сорок пять градусов струю света! — бойко откликнулся «матрос».

— И все же надо работать, — решительно сказал я себе и, взяв бумагу и ручку, перешел в другую комнату.

Но солнечный зайчик настиг меня и здесь: он то ложился на бумагу, то взлетал к потолку, наблюдал, следил за мной с потолка, а потом падал на написанное слово, освещая его. И при его настойчивом свете мне начинало казаться, что я пишу совсем не то, что надо.

Теплый утренний ветерок наполнил комнату. И впрямь, не поехать ли за город? Ведь в лесу уже покраснелась рябина. Я отложил перо. На столе на белой бумаге лежал светлый зайчик с золотыми краями. Теперь он был спокоен и тих, словно чего-то дожидался.

Где-то рядом послышался гудок теплохода: на Москве-реке шла своя жизнь. «Ракеты» причаливали, отчаливали, уплывали. То и дело в комнату долетали отрывки песни: пассажиры пели. Я почувствовал, что окончательно теряю нить своей работы.

Тяга к простору, к встрече с ветром, с лесом захватила меня. «Скорей за город!» — подумал я. И тут солнечный зайчик, словно подслушав меня, затрепетал, вскочил и лег на ручку двери.

— Нет! Остаюсь! — сказал я и снова взялся за перо. Солнечный лучик лукаво вздрогнул и лег на берет. Тут уж я не выдержал. Схватил берет со стула. Была не была.

Хлопнула дверь, щелкнул замок.

Вот и площадь перед вокзалом.

Солнечный зайчик! Ведь это ты, ты погнал меня от письменного стола к вокзалу, в лес.

И теперь ты остался один, совсем один в большой пустой московской квартире.

ПЕРЕПУТАННЫЕ ПОЕЗДА

Итак, вокзальная площадь.

Спешат к поездам дачники. Второпях я почему-то пошел к перрону через комнаты ожидания. Мимо пассажиров с детьми, которые плачут, улыбаются, спят и не спят, перебирают свои игрушки на скамейках, мимо пассажиров с их чемоданами, баулами, мешками, продуктовыми сетками, пакетами, корзинками и ящиками.

— Внимание! Поезд номер шестьдесят два прибывает на третью платформу, — хрипло и невнятно пророкотал громкоговоритель. Потом в нем что-то щелкнуло, и он ненадолго замолк.

Я вышел на перрон.

Убегают от платформы вокзала рельсы. Они бегут попарно... попарно... Сколько чувств, мыслей, ассоциаций возникает в тот миг, когда смотришь на эти стальные пути, — они уходят, всё уходят вдаль...

Я глянул на транспарант. Мне надо ехать до платформы Зеленцово.

«Зеленцово... Зеленцово», — торопливо искал я глазами на транспаранте. Вот удача! Поезд рядом... Скорей... Он уже трогается... Бегу.

— На Зеленцово? — раздался позади меня чей-то задыхнувшийся голос.

— Да, да, — нетерпеливо ответил я, и вслед за мной в вагон вскочил какой-то человек.

В вагоне я устроился у окна. Отдышавшись от спешки, огляделся. Странно! Ведь сегодня воскресенье, а столько свободных мест. Ах да, очевидно, добавочный. Мне просто повезло!

Поезд набирал скорость. Продавщицы мороженого толкали в проходе вагона свои сундучки на каточках, предлагали, перечисляли все сорта мороженого.

Я раскрыл книгу.

— Спасибо! Вы подсказали мне мой поезд! — услышал я возле себя.

Напротив меня на скамейке, тоже у окна, сидел молодой человек. Густая шевелюра, высокий лоб, беспокойные глаза.

— Понимаете, на ваших московских вокзалах трудно разобрать транспаранты — указатели движения поездов.

Вот у нас в Ленинграде — все начертано четко и ясно.

— Порядок! — сказал я насмешливо. — В Ленинграде — порядок! А в Москве — одна суэта...

— Зачем же обобщать? — Юноша еще что-то хотел сказать, но вдруг замолчал: он поймал мой взгляд — а я усиленно рассматривал авоську, висевшую на крюке над его головой.

Я вовсе не любопытен. Какое мне дело до чужих авосек? Но здесь! Чего только в ней не было, в этой сетке. Какой странный натюрморт! Помидоры — и томик Блока, вязка баранок — и «Биогеохимические очерки» Вернадского, творог в пачках — и Рахманинов «Вариации на тему Паганини», бутылка с оливковым маслом — и разноцветные детские кубики в целлофане.

Я отвел глаза, но на скамейке увидел еще одну такую же авоську: коробка диетических яиц, банки сгущенного молока, книга Эйнштейна «Эволюция физики», тут же сыр в яркой финской упаковке и нотная бумага, свернутые в трубочку ноты и поверх всего ребром — патефонная пластинка в красном футляре.

Поезд шел. Останавливался. Пассажиры входили, выходили. В окно я не смотрел: читал книгу. Сколько прошло времени? Не знаю.

— Тс... тс... — Голос из микрофона очень ясно прозвучал: — Станция Мезенцово! Поезд дальше не идет! Пассажиры прошу освободить салоны вагонов.

— Мезенцово?! — вскочил я: ведь мне надо в Зеленцово! Почему же Мезенцово?!

— Прошу освободить вагоны, — снова раздался голос из громкоговорителя.

Что я наделал! Перепутал поезда! Ну и ну! И этого молодого человека подвел.

— Предвидел! Две нечеткие буквы на вокзальном трафарете могут изменить жизнь человека, — взволнованно, шепотом говорил мой спутник, сходя на платформу и таща свои сетки.

— Жизнь не переменится от того, что два-три часа мы подождем, — ответил я возможно спокойнее, но внутренне негодуя на свою рассеянность.

— А разве случайность не может стать роковой?

— В Ленинграде, конечно, у вас случайности не бывают! Наверно, там буквы на транспарантах печатают и проверяют на фабрике Гознака, как десятирублевки...

— Не смейтесь. Мне завтра играть перед Дмитрием Дмитриевичем.

— Перед кем?

— Перед Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем,— с удивленным нетерпением ответил мой собеседник.— Я должен подготовиться. А я, видите ли, с поезда на поезд прыгаю!

— Обождем два часа здесь, в Мезенцове, а там поедem на промежуточную станцию Меншуткино, сделаем пересадку, и через двадцать минут будет наше Зеленцово,— нарочно рассудительно отвечал я.

Ожидать поезда на Меншуткино было очень, очень скучно.

Шагал и шагал по платформе мой спутник, метался из конца в конец, томился, наконец устал, сел возле меня на скамейку.

Мне захотелось развлечь его.

— Раз судьба нас связала, так давайте познакомимся,— начал я.— Как вас зовут?

— Окольный Сергей Васильевич,— охотно отозвался молодой человек.

— Итак, вам предстоит разговор с Шостаковичем? — сказал я, после того как назвал себя.

— Да.

— Так вы музыкант?

— Я без пяти минут биохимик.

— Кто?

— Да, да, я на пятом курсе университета.

— Итак, четыре года назад вы шли на экзамен в университет, а знали, что вам надо учиться музыке?

— Нет, я честен перед самим собою. Мир для меня завучал совсем недавно... вдруг... Однажды в белую ночь неподалеку от Медного всадника. Я вдруг подумал, что, может, на этом самом месте когда-то Пушкин и Мицкевич укрывались от дождя под одним плащом,— подумал... и вдруг словно что-то прорвалось наружу: и слова Пушкина, и думы Мицкевича. И отсюда началось. Весь мир предстал предо мной в немом многоголосом звучании. Оно не прекращалось ни днем, ни ночью. «Нет,— сказал я себе,— от самого себя не откажешься, никуда не убежишь... Мне надо учиться музыке. А все остальное трыва».

Мучительное чувство! Чем бы я ни был занят, по днем

и ночью на все, что бы ни случилось, о чем бы ни вспоминал,— на все возникает свое звучание.

Смотрите! Вот мы перепутали поезда, а во мне уже подымается вихрь, рой голосов — они рассказали бы людям о загадке случая, о его значении, о роли в жизни человека. Знаете, о чем я мечтаю? Я хотел бы написать симфонию «Теория вероятностей». И одна из частей — это встреча Пушкина и Мицкевича в ненастье, возле Медного всадника.

Окольный почему-то внезапно замолчал и стал перекладывать продукты в своих сетках.

Я поднялся со скамьи, чтоб ему не мешать.

«Впечатлительно живет... — подумал я. — Трудна, ох трудна жизнь этого милого человека!»

Теперь уже не Окольный, а я бродил вдоль станции. Бродил скучно и бездумно. Вглядывался в ослепительную голубизну неба, вслушивался в деловые гудки паровозов, шмыгавших то туда, то сюда...

Медленно я подошел к краю платформы. И вдруг услышал женский голос, идущий откуда-то снизу. Я невольно прислушался.

И вот с этого мгновения все и началось.

ВИШНИ... ВЛАДИМИРСКИЕ ВИШНИ

— А у меня пятистенки... да с железной крышей,— откуда-то снизу долетел до меня низкий, звучный и чем-то обеспокоенный голос женщины.— Летом полдома дачники снимают. Сад у меня вишневый. Им вишни продаю. Все лето варенье варят. Бог весть, сколько сахару извоят. Да пусть варят, их дело. А я вот встаю утром, смотрю на дом, на сад. Вот и говорю дочке: «Дочь! Неужели буду я и дом и сад делить?.. Да с кем? С твоим студентом-художником, который всю свою родню из-под Тулы из колхоза перевезет?»

— А она что? Она-то как отвечает?— слышался высокий голос другой женщины.

— Она-то? Она в ответ: «Мама! Вам бы все сад да сад! Сбережь сад! А любовь мою сбережь вы и не хотите!»

И опять высокий голос:

— Он, студент-то, может, и стоящий человек?

— Он-то? Чего он стоит? Добро бы, на инженера учил-

ся, а то... на художника, и все тут. Гол как сокол! Изведет он сад на краски. Моя-то чуть школу кончила — к ней наш агроном посватался. С нашей же деревни. Митрофан Иванович. Настоящий мужчина. Меня до сих пор мамашей называет. Хозяин мой — покойник, царство ему небесное, — тогда еще жив был. Хозяин сам же придержал это дело! Пусть, мол, девка в институт иностранных языков идет. Высшее обучение получает. Вот она в Москве, в институте, через подружку с этим студентом-художником знакомство свела! Совсем голову потеряла: затвердила одно: люблю и люблю, и все тут. Себя не помнит! Все по выставкам всяким, взявшись за руки, бегают. А что толку в этих выставках?! Нам в дом мужчина нужен... самостоятельный. Взять бы того Митрофана Ивановича — я бы спокойна была и за дочь, и за дом, и за сад. И внука нячила бы.

Я глянул с высокой платформы и увидел двух женщин, сидящих на траве под лесенкой. Около одной стояла корзина с вишнями, около другой — корзина с грибами.

— Эй! Продайте вишни, — перегнулся я через перила.

— Сюда! Сюда, гражданин. Спуститесь, — степенно начала женщина с вишнями и вдруг резко и сильно, точно ей надо было перекричать толпу, затянула нараспев: — Ви-и-шни... Вла-а-ди-и-мирские вишни-и... Ка-аму вишни, вишни-и...

Я спустился по деревянной пологой лесенке с шаткими ступеньками.

Возле корзины с вишнями сидела крепко сбитая женщина в кофте с разноцветными пуговицами. Серьги в ее ушах чуть-чуть покачивались при каждом движении, на безымянном пальце правой руки поблескивало два обручальных кольца — свое и покойного мужа. И еще: возле корзины с вишнями на земле лежали небольшие листы пожелтевшей бумаги, из которых эта женщина сворачивала кульки. Целая стопа листов. А на стопе — камешки.

Женщина, разговаривая, протянула руку, вытащила из-под камешков один лист, исписанный какими-то цифрами. Почему-то отбросила его в сторону. Взяла еще листы: один, другой, третий. Рука ее — ладонь и пальцы были окрашены темно-красным вишневым соком. Я заметил эту окраску в тот миг, когда она привычным движением свертывала кулек, а потом ловко опрокидывала в него граненый стаканчик, полный вишен.

Один кулек с вишнями был у меня уже в руках, и тут я подумал о своем спутнике.

— Дайте-ка еще один, — попросил я.

— Сделаю! Ладно! — сказала женщина, снова потащила листки бумаги из стопки.

Но тут камешки, придерживавшие все листки, скатились, а неожиданно налетевший ветер унес листы в разные стороны.

— Ну и пусть! — сказала женщина и положила на оставшуюся пачку листов кусок кирпича. Свернула еще один кулек, наполнила вишнями, протянула мне.

Листки, листки... унесенные ветром! Сколько их было тогда?

ДО КРУТОГО ПОВОРОТА — ОДИН ЧАС

Что было дальше? Как будто бы ничего особенного. Дождались поезда, сделали пересадку в Меншуткине, поехали на Зеленцово. О чем-то говорили... О чем? Не помню. Знаю одно: вишни были сочные, спелые и очень душистые. А мой спутник ел их медленно-медленно. Казалось, что каждая вишня приносит ему какую-то свою радость.

Вот и Зеленцово. Приехали! На платформе мы на минуту остановились.

Окольный спрятал в сетку с продуктами свой кулек, в котором еще оставались вишни, и тут же бережно, подальше от кулька переложил томик академика Вернадского. А я свой пустой кулек смял и бросил в мусорную урну на платформе.

Обо всем этом в таких подробностях я не зря теперь вспоминаю.

Шли молча.

— О чем вы думаете, Сергей Васильевич? — спросил я своего спутника.

— Не могу примириться: две нечеткие буквы на перронном указателе нас запутали, и мы весь день проплутали невесть где.

— И эта случайность может погубить ваше будущее? — не утерпел я.

Мой спутник сделал вид, что не слышит, и продолжал:

— Я с мучением вглядывался в мусорную урну.

— Какую?

— Там, на платформе, вы еще бросили в нее свой пустой кулек. Какая она аляповатая, несуразная, да еще листья аканта отштампованы на ней. А сколько чугуна ушло на это милое создание! В Ленинграде... его безупречная стройная архитектура, серьезная и холодная Нева, настойчивый сумрак белых ночей — там все обязывает к строгости и к себе, и к делам.

— Конечно, на московском небе над нами просто луна, а на ленинградском небе Селена.

— Я думал о вас лучше... — с грустью сказал Окольный.

— Простите, Сергей Васильевич, — примирительно сказал я, — ведь я просто развлекаюсь, играю словами, а думаю совсем о другом.

— О чем?

— О зайчике. О солнечном зайчике. В моей пустой квартире он по мне скучал, скучал и растаял.

— Опять развлекаетесь словами?

— На этот раз нет, — ответил я. — Мы пришли. Здесь, в этом домике, летом я снимаю комнату. А вот мое окошко.

— Прощайте! — улыбнулся напоследок Окольный.

— Уверен, что Дмитрий Дмитриевич сразу же почувствует замысел вашей симфонии и поддержит вас, — сказал я, пожимая руку Сергею Васильевичу.

Глаза Окольного чуть потеплели.

— Спасибо! Большое спасибо! Прощайте.

— Прощайте.

Я вошел в свою комнату. Распахнул окно. Рама задела ствол сосны. Теплый летний сумрак уже обволакивал его.

Выглянув из окна, я увидел, как медленно и задумчиво шел по просеке мой недавний спутник, а его две авоськи с продуктами, книгами и нотами качались и мотались в такт его шагам...

«Так, наверно, он и сам будет мотаться в жизни... А интересный человек, — подумал я. — И, наверно, я его больше не увижу. Жаль. Впрочем, — загадал я, — если он обернется, значит, мы еще увидимся».

Окольный вдруг остановился. Он, видно, что-то вспомнил, задумался. Но не обернулся. Скрылся.

«Значит, не увидимся! Чепуха! Дачная чепуха. Пора спать!»

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Поздняя ночь. Спокойно лежат на полу светотени. Спокойно луна поднимается над соснами.

Но мне не спится. Бессонница.

От бревенчатых стен шел смолистый запах.

Сосны даже срубленные живут, раздумывал я. Как странно! Люди срубили сосну... много сосен... Сделали дом. А они, сосны, и срубленные живут, веселя душу своим запахом. И еще какой-то другой запах — сухой и резкий — примешивается к запаху бревен. Мох! Ведь мхом проконопачены пазы меж всех этих бревен.

Луна уже стояла высоко в небе.

Я стал было дремать. Но вот сквозь приближающийся сон мне послышался голос: «Люби,— говорю своей дочери,— агронома, а она хочет за студента-художника. Погибать, значит, саду-то моему вишневому?» Откуда это? Ах да, так говорила женщина, торговавшая вишнями, а голос... Вишневый сад... Вишневый сад... А вот уж другой голос: «Торги... Аукцион на двадцать второе августа...» Сразу узнаю: это Лопахин, он будет рубить вишневый сад. Пьеса Чехова во МХАТе. Умолк Лопахин. Растаял.

Я стал засыпать... Все тихо. Остался только стук топора. Стучит в театре топор — рубят вишневый сад. Стук... Стук...

Проснулся. Стук повторился, но уже наяву — ясно, часто, дробно.

Стучал кто-то в мое окошко:

— Проснитесь!

Я вскочил. У открытого окна стоял при луне тот самый Окольничий, с которым мы плутали сегодня по разным станциям.

— Простите меня — разбудил! Но случилось нечто невероятное...

Я включил свет.

— Ничего не понимаю. Не стойте под окном, как в любовном романсе. Зайдите в дом.

И вот Окольничий сидит у стола. Вид у него встревоженный до крайности.

— Что случилось? Почему молчите?

— Бежал к вам... — Он умолк, усталился неподвижным взглядом на лампочку.

— Так что же случилось?

— Скажите, ведь вы знаете о том, что Кибальчич и на суде и перед казнью думал не о смерти, а о том...

— ...чтоб до людей дошло его открытие. И просил суд сохранить его записи,— нетерпеливо подсказал я.— Но к чему это?

— Вы помните там, на станции, урну... ну, мусорную урну?

— Мусорную урну? Не понимаю. О чем вы, Сергей Васильевич!

— Наверное, в том кулке, который вы бросили в мусорную урну на платформе, скрыта разгадка тайны. Впрочем, читайте! Читайте скорее. Еще раз простите, что я помешал вам спать.

Он протянул мне большие смятые листы желтоватой твердой бумаги, измазанные вишневым соком.

— Что это за грязные бумаги?

— Мой кулек из-под вишен.

— Чего вы от меня хотите?

— Читайте!

Нехотя взял я листы и поднес поближе к лампочке.

НЕСКОНЧАЕМАЯ ЖИЗНЬ, ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ

Листы были исписаны четким, но мелким почерком.

Окольниковый выдернул из моих рук нижний лист и положил его сверху:

— Для начала возьмите вот это.

Мне бросилось в глаза, что в правом верхнем углу листа очень ясным писарским почерком с лихими завитушками было старательно выведено: «27 августа 1858 года», а в левом — «К протоколу следствия, лист 117-й».

— Это что еще?

— Судебное дело. Чрезвычайной важности. Сто лет назад. Начала нет, но это неважно. Читайте, прошу вас.

Я нехотя принялся за чтение.

«...Экспертное заключение врача-психиатра Н. Е. Озерова.

В оном заключении врач-эксперт указывает на то, что обвиняемый страдает душевной болезнью в форме мономании, возникшей на почве контузии, полученной во время Севастопольской кампании и сопровождавшейся потерей памяти.



Посему все деяния обвиняемого, произведенные им по получении контузии, то есть начиная с 15 июля 1855 года, должно понимать как проявления помраченного сознания и состояния невменяемости; самого же обвиняемого рассматривать как человека душевнобольного...»

Я остановился в недоумении.

— Читайте же! — нетерпеливо настаивал Окольников.
Я подчинился.

«...после оглашения экспертного заключения врача-психиатра Н. Е. Озерова обвиняемый Дмитрий Веригин обратился к следователю:

— Господин следователь! Отвергаю! Сегодня, в среду 27 августа 1858 года, я, Дмитрий Веригин, категорически отвергаю заключение врача-психиатра. И не помрачением сознания обусловлены мои деяния, а именно: доставка и распространение свободлюбивых изданий Герцена, зовущих народ к свободе. Отдаю себе отчет: если вы, господин следователь, согласитесь с экспертизой врача-психиатра, то и кара смягчится. Но, будучи в здравом уме и твердой памяти, отвергаю заключение врача-психиатра. Однако сейчас поведаю о другом.

Да! Во время Севастопольской кампании, 15 июля 1855 года, вследствие разрыва бомбы я действительно лишился памяти. Даже имени своего не мог назвать. Но за какую-то минуту до этого меня осенила одна догадка...

Следователь. Уж не эта ли ваша «догадка» привела вас на скамью подсудимых?

Обвиняемый. Многие годы потратил я на то, чтоб проникнуть в суть вопроса: почему так коротка человеческая жизнь? И вот за миг до контузии я подошел к разгадке тайны, как продлить человеческую жизнь на тысячу лет и сохранить непроходящую юность.

Следователь. Обвиняемый Веригин! До ваших умствований мне нет дела. Не уклоняйтесь от предъявленного вам обвинения. Итак, будучи в здравом уме и твердой памяти — не так ли? — вы признаете себя виновным в подготовке народного возмущения против монарха?

Обвиняемый. Горе народное повелело мне не оставаться безучастным к судьбе несчастного люда. Отец мой был врачом. И с ним я еще ребенком разъезжал по деревням, где он лечил больных. С детства видел я нищету и бедствие народное. На медицинской практике я убедился: почти все

болезни в народе идут от голода и бесправия, в которых держат страну царь, правительство и богатые люди...

С л е д о в а т е л ь. Прекратите, обвиняемый, свои дерзкие речи. Еще одно такое высказывание усилит вашу вину и наказание.

О б в и н я е м ы й. Тут ваша власть. Подтверждаю! Желая помочь избавлению народа от страданий, я принял за распространение надлежащей литературы среди офицеров, для чего посещал казармы.

С л е д о в а т е л ь. Признаете ли вы себя виновным в том, что для получения крамольных воззваний держали преступную связь с лицами, стоящими вне закона? Посягающими на спокойствие России?

О б в и н я е м ы й. Открыто заявляю: я совершил не одну, а несколько поездок в Лондон к Александру Ивановичу Герцену. Там, в Вольной типографии, я получал литературу. Ездил в последний раз уже после контузии. Как видите, утверждение врача-эксперта о том, что я психически больной, здесь ни при чем.

С л е д о в а т е л ь. А теперь назовите своих сообщников.

О б в и н я е м ы й. Сообщников у меня не было. Я один, на свой страх и риск, привозил «Полярную звезду» и прокламации Герцена. И сам распространял их. Я это уже говорил. Приговора не боюсь. Но долгом жизни моей считаю передать людям мою догадку. Господин следователь! Обращаюсь к вам с единственной просьбой: мои записи и расчеты прошу передать в Академию наук. Свыше года я пробыл в тюрьме. За это время я кое-что успел в направлении того, как законы биологии проверить математикой. Вот здесь, в этой тетради, некоторые мои вычисления, первые выводы. И я, Веригин, прошу вас особо отметить в протоколе мое пожелание передать в Академию наук эти мои записи и...»

Окольный остановил меня.

За окном стояла глубокая ночь. Черные деревья спали, каждое на свой лад, и покачивали, каждое по-своему, на легком ветру свои ветви.

— Алхимики... Вспомните о философском камне, о попытках превращать одни элементы в другие, о поисках эликсира жизни. А в наши дни превращение элементов уже не проблема. До эликсира бессмертия еще далеко, а вот этот неизвестный Веригин уже что-то нашел, чтоб продлить жизнь людей на века. Как вы не хотите это видеть?

— Будет вам, Сергей Васильевич, — возразил я. — Этот Веригин просто чудак, помешавшийся на несбыточных мечтах о человеческом счастье. И видит он это счастье в долгой жизни и нескончаемой молодости. Мечтатель!

— А что вы скажете о Ри-ше-лье? — Последнее слово Окольниковый сказал раздельно и значительно.

— Какой Ришелье? При чем тут Ришелье? Тот, что был в Одессе? И там еще памятник ему?

— Да нет, другой! Умнейший и образованнейший человек семнадцатого века, кардинал Ришелье посадил в сумасшедший дом Соломона Ю, инженера. А за что? За то, что этот человек (за двести лет до того, как паровоз потащил вагоны железной дороги!) создал учение о механических движущих силах. А при этом еще указал на силу пара. И вот образованнейший Ришелье посчитал этого Ю безумцем и посадил его в дом для умалишенных.

— И вы хотите сказать, что...

— Прошу вас, читайте! — с мольбою сказал Окольниковый. — Или давайте я... лучше я.

Окольниковый поднес листок к глазам и тихо, как бы оберегая каждое слово, стал читать:

— «...повторяю: заключение врача-эксперта о моей неменяемости из-за потери памяти здесь ни при чем. Я хочу вернуть некогда утраченное человеком тысячелетие жизни. И так сохранить молодость, изгнать старость с нашей земли.

С л е д о в а т е л ь. Повторяю: мне нет дела до ваших умствований. Извольте отвечать...»

ЗАПИСИ, ВЫВОДЫ — ГДЕ ЖЕ ОНИ?

— Стойте! — воскликнул я. — Бросьте чтение! Записи, выводы — где же они? Где же научная суть этой догадки насчет тысячелетней жизни? Где? — кинулся я на Окольникового. — Научной сути как раз-то и нет. Да и не может быть. Тысячелетняя жизнь. Нескончаемая юность. Чепуха! А вот сюжет! Литературный сюжет — это да!

— Может быть, он в мусорной урне, этот «сюжет»? Ведь ваш кулек из-под вишен — где он?

— А ведь верно!.. Где мои сандалеты? — вскочил я.

— Куда вы?

— На станцию! Искать кулек. За сюжетом — хоть на

край света!.. Ох, прыжка отлетела! Ладно, как-нибудь добегу. А ведь уже в девятнадцатом веке... А где берет?.. Ага, вот.— Теперь я задыхался от волнения.— Подумать только, расчеты жизни на тысячу лет!

Налетел легкий ветер. Лунный блик на полу то отодвигался в сторону, то возвращался на место, подчиняясь движениям створок открытого окна.

— Куда делись сигареты?

— Вот они. Перед вами.

— А спички? Ах, в кармане. Ну, пойдем скорее!

— Нет! Я не пойду с вами. Вы же знаете... Завтра у меня такая встреча. Надо подготовиться. Я рад, что вы заинтересовались этим делом. Желаю удачи!

Легкий ночной ветер осторожно и ласково дул в лицо.

— Бездельник! — на ходу сказал я ветру.— Меня не обманешь. Вот теперь ты мягкий, вкрадчивый, теплый, ластись ко мне, а там, на станции, где были вишни, днем, не ты ли вмиг разметал во все стороны листки, те листки?.. А их, конечно, уже не найти. Успеть бы мне спасти от гибели злосчастный кулек из-под вишен. Какая досада! Ведь собственной рукой я его смял и сунул в мусорную урну.

Я почти бежал мимо темных спящих дач. Вдоль заборов с лаем носились собаки. И был у них, конечно, свой стговор: от дачи к даче они, словно передавая меня одна другой, подбегали к заборам, лаяли, умолкали... лаяли... А я беспорядочно, отрывочно думал...

...Неведомый человек сто лет назад объявил войну времени, пошел наперекор ходу жизни. А что такое жизнь? Движение! Энергия. Древние греки в мифах рассказали, как люди боролись с богом времени Хроносом... Нельзя! Нельзя дать погибнуть такому сюжету.

Выбежав на просеку, я остановился. Перевел дыхание.

Ах, если б только я нашел другие листки!

ВОТ! ВОТ ОН, ЭТОТ КУЛЕК!

Итак, я сидел на скамейке на платформе станции Зеленцово. Ждал рассвета. Тянулась ночь. Клонило к дремоте. Мысли мои метались беспорядочно: то я начинал думать, что через час-другой, может быть, найду нечто такое, о чем люди не догадываются и даже не мечтают. Потом воз-

никла карта Америки. За полтысячелетия до Колумба была открыта викингами Америка. Открыта. Забыта. И вновь открыта. Ведь нередко люди заново открывают то, что когда-то уже было открыто. И кто знает, может быть, пять — десять тысяч лет назад человечество владело секретом долголетия и вечной юности?!

А потом я, наверное, задремал.

И вдруг капля дождя... одна... другая... упали на меня. Раскрыл глаза. Не сразу догадался, где я, зачем я здесь, на этой деревянной скамейке, в этой темноте крошечной... Вспомнил! Но где же луна? Сосны? Они спрятались от меня.

Но рядом со мной в темноте на платформе белела мусорная урна.

Дождик усиливался, и я в испуге метнулся: размоет листки, которые остались в урне. Снял пиджак, прикрыл урну.

Тьма... тьма... И нет ей края и конца. И, кажется, никогда не кончится этот осторожный стук дождя по платформе.

Но вот потянул ветер. Струи дождя стали редкими и косыми. И я подумал: ветер качает струи дождя и гонит их к урне.

Какой сумрачный, печальный рассвет! Какая мокрая дымка стоит над соснами, над лесом... Багровая резкая полоса показалась на востоке.

Я снял пиджак с урны, осмотрелся и тут же, при первых красных лучах солнца, увидел: на самом дне урны, чуть прикрытый какой-то тряпкой, выглядывает крепко смятый кулек из-под вишен. Вот! Вот он! Вот он, этот кулек!

Не помня себя, задохнувшись от волнения, я схватил свою находку. Вот они, желтоватые листы! Один... другой... третий...

Сердце билось сильно и часто. Послышался гудок. Первый поезд на Москву. Скорее домой!

Наконец я переступил порог своей квартиры. Ранний утренний солнечный зайчик оторвался от моих открытых настежь окон и, радостно скользнув по стенам, стал греть мою руку.

«Вчера я послал тебя за город, а сегодня — нет! Оставайся дома!»

Мой кот Топ, увидев меня, обезумел от радости, мет-

нулся по квартире, спрятался за тяжелую штору и стал мяукать: «Ищи меня, ищи!»

А потом прыгнул ко мне, лизнул ладонь: «Спать! Спать!»

Я сел на диван, расправил листки кульки, но глаза слипались.

Не помню, как уснул. Сразу!

ДОНОС ЗИМОВЕЙКИНА

Были сумерки, когда я проснулся. Солнечный зайчик давно исчез. Топ блаженно спал возле меня.

Я пррспал целый день!

Скорей крепкий чай. И скорей — за письменный стол.

Я расправил листки. Ага! Полностью сохранился какой-то донос. Вот он.

*«Ваше Превосходительство,
Милостивый Государь мой
Георгий Спиридонович!»*

На одну минуточку осмелюсь тронуть Ваше драгоценное время, которое отдаете Вы, Ваше Превосходительство, служению Престолу.

Кто я есть? Помните ли Вы, Ваше Превосходительство, Терешу Зимовейкина? Пожалуй, забыли.

Отец мой, дай бог ему царство небесное, будучи лакеем графа Забельского, по их же протекции определил меня в приготовительный класс той 1-й гимназии, где Вы, Ваше Превосходительство, изволили курс учения начинать. Там я с Вами в первом классе учение проходил. А затем богу было угодно, чтоб меня за один проступок исключили из стен гимназии. Я и ушел в небытие. А Вы продолжали курс наук. А о том, как потом господь бог рассудил меня с моей судьбой — сим вопросом не смею Вам, Ваше Превосходительство, надоедать. Суть же моего сего послания состоит вовсе в другом. Она заключена в великом секрете, к которому я приобщился и который я ношу в себе. Секрет сей касается раскрытия тайного крамольного гнезда, прикрытого под сенью науки.

Должен Вам доложить, Ваше Превосходительство, что жительство я имею в Малом Кисельном переулке, что возле Рождественского бульвара. Квартира же моя с вывеской:



«Живописец-маляр. Пишу любые вывески». Но вывеска — вывеской, главное в том, что у меня во фруктовом саду снимает домик господин профессор химии Александр Сергеевич Порошин. По странности одного случая я получил возможность проникать в любой час в квартиру, где профессор Порошин проживает с дочерью, девицей Натальей, курсисткой.

К моему жильцу с некоторых пор стали в ночной час под покровом тьмы приходить люди и условно к нему в дверь стучать. Следуя ночью же по их следам, когда оные оставляли дом Порошина, я многое узнал.

А теперь уж подхожу к главному. Обширна библиотека господина Порошина. Неисчислимы в ней книги. Но ангелы небесные мне помогли, и я обнаружил, в каком именно переплете какой книги существует, так сказать, двойное дно. И туда-то на один или два дня профессор Порошин и прячет письма и документы, которые ему доставляют подозрительные люди. Прячет. Кому-то показывает. А затем и сжигает. «Пожалуйста, сжигайте! Сжигайте, господин Порошин,— сказал я себе.— А вот я, грешный человек, прочту корреспонденцию вашу и кому следует доложу».

И теперь я в разное время копию с какого-либо письма снимаю. И сразу же подлинное письмо в тайное порошинское дно назад прячу. А что надо — для Вашего департамента берегу.

Для начала доказательства усердия своего, Ваше Превосходительство, препровождаю Вам копию писем некоего Веригина, с коим Порошины дружбу водят, а он есть настоящий враг Престола. Одно письмо самому господину профессору, а другое — дочке его Наталье, хоть она курсистка, но нестриженная.

Льщу себя надеждой, что труд мой на пользу послужит охраны благоденствия матушки-России. И мне, рабу грешному, Вы воздадите по усилиям моим.

Остаюсь, Ваше Превосходительство, нижайший Ваш слуга и прилагаю при сем копию коварного и крамольного письма.

Верный Ваш слуга до гроба

Терентий Зимовейкин».

К этому доносу Терентия Зимовейкина была приложена копия письма, которое служило как бы продолжением мыслей неизвестного искателя, с которыми я уже познакомился.

Было очень жаль, что от большого, по-видимому, письма искателя сохранилось только два листка, да и то не полностью.

Вот это письмо.

ПИСЬМО ПОРОШИНЫМ

«Александр Сергеевич! Дорогой!

Да! Я осужден. Ссылка. На двенадцать лет.

Сидя в тюрьме я... законы биологии проверял... математика убедила меня... человеку энергию, взятую из природы, которая принесет ему неувядающую юность и...

Еще давно я задумался над тем, где, у кого заимствовать энергию? Вокруг нас и рядом с нами бесконечное разнообразие видов энергии. Люди брали у природы только для своих житейских нужд энергию ветра, рек, водопадов. Но человек вовсе не думал, как помочь своему организму в усвоении такой энергии, которая... и жить тысячелетие.

Нет! Народ не ошибся, когда создал сказку про спящее царство, где люди, проспав 100 лет, проснулись такими же молодыми, как до сна... но я... не сказкой, а наукой... догадка пришла...»

Дальше видны были только размытые следы каких-то вычислений, и лишь в самом низу на листе удалось разобрать следующие слова:

«...дела своего не оставляю... И еще до контузии... какое-то чудо... я верю и не верю... мелодия... моя флейта... а кипрей растет и растет...»

Я отложил листок.

Какой-то кипрей... и еще мелодия... Ничего не понять!

И я взялся за чтение другого листка.

*«Бесценный мой друг,
Наташа, единственная моя!»*

Завтра меня увезут. Мы расстаемся. На долгие годы. Но где бы я ни был — я буду не один, а с тобой. Только — с тобой. И в эту последнюю ночь перед дальней дорогой должен поведать тебе свое самое сокровенное.

Это было 15 июля 1855 года в Севастополе. Из госпиталя в тот день я ушел под самое утро. Я устал. Я был измучен. Было еще темно. Густой сизый туман лежал над морем. В предутренней темноте на крутом берегу я разглядел сосну. Ее верхушку сорвало вражеским ядром. Прислонился к ее стволу. Опустился на землю. Закрыв глаза. Внизу под обрывом жаловалось и ворчал море. И я забылся, задремал.

Но вдруг я очнулся. Открыл глаза. Солнца не было видно: оно еще не взошло. Надо мной на востоке по небу протянулись золотисто-розовые лучи зари.

Помнишь ли, Наташа, миф об Эос? Смутно?

Я напомним. Бессмертная юная заря Эос полюбила Титона. Но он человек! А следовательно — смертен. И потому Эос с мольбой обращается к богу богов, к царственному Зевсу. Она молит Зевса даровать ее супругу бессмертие. Зевс согласился. А годы идут — быстрые годы. Эос все такая же. Она, юная заря, каждое утро восходит на востоке. А супруг ее стал дряхлым, но не умирающим старцем: ведь Зевс дал ему вечную жизнь!



Ах, горевала Эос, почему она тогда же не испросила у Зевса не только бессмертие, но и вечную юность своему Титону.

Да! Ведь, кажется, Зевс, узнав о горе Эос, сжалился и избавил ее от престарелого супруга, превратив его в цикаду. Вот и весь миф.

Пока я думал об Эос, облака на востоке стали пурпурно-золотыми и плыли все быстрее и быстрее. Ветер же гнал гряды за грядой серые облака. А лучи еще не появившегося солнца прорвались сквозь туман, сквозь предутреннюю мглу. Они, эти лучи, дерзко взбирались на облака. Словно золотые волосы, рассыпались по облакам тысячи лучей зари. А она их собирала, сплетала в густые крутые девичьи локоны. Золотые локоны! Твои локоны... Я воскликнул: «С добрым утром, Наташа!»

Я взял свою маленькую флейту, с которой, как ты знаешь, никогда не расстанусь. Начал играть. Мелодия складывалась сама собой. И вот мне показалось... верь мне... кипрей словно слушает... растет... и не раз...

В скитаниях моих ты всегда со мной. И твое душевное участие помогает мне отыскивать верный путь.

Твой всегда, Дмитрий.

А все же не могу вспомнить, что подсказала мне мелодия флейты, когда рос кипрей».

ПИСЬМА, ТЕЛЕГРАММЫ, ЗВОНКИ

Письмо в редакцию журнала «Бюллетень естествознания и фантастики»:

«Дорогие товарищи!

Препровождаю вам подробное описание одной моей находки, сделанной мною, как это ни странно звучит, в мусорной урне на железнодорожной платформе несколько дней назад.

Не кажется ли вам, что находка заслуживает того, чтобы быть напечатанной на страницах вашего журнала?

С уважением Г. А. Нестеров».

Письма... письма... звонки по телефону...

Как много писем и звонков, после того как в еженедельном журнале «Бюллетень естествознания и фантастики» напечатаны были обрывки записок известного искателя, который сто лет назад сделал попытку приоткрыть завесу, скрывающую тайну утраченного человеком тысячелетия жизни. Вот как откликнулись люди на прочитанное.

Письмо научного сотрудника И. Л. Старобельского:

«Дорогие товарищи!»

Пишу вам, чтоб вы сразу отдали себе отчет: находка обязывает вас довести дело до конца. Найти те материалы, которые дадут нам представление о личной судьбе неизвестного искателя и о судьбе его поисков, достижений и просчетов в научном плане...

Меня вынуждают так беспокоиться те две-три справки, которые я наугад выхватил из богатейшего архива материалов, посвященных забытым ученым-революционерам и замечательным ученым-самоучкам.

Из напечатанных вами материалов видно, что судебное дело Веригина слушалось в 1858 году.

Итак, только два с небольшим десятилетия отделяют неизвестного нам искателя тысячелетий от замечательного Кибальчича, которого царский суд повесил в марте 1881 года.

Как вы, наверное, знаете, Кибальчич на суде в своем последнем слове просил сохранить и сделать достоянием народа и ученых свои опыты и расчеты по созданию ракет.

Но только после Великой Октябрьской революции завещание Кибальчича было обнаружено и получило достойную оценку.

Или вот еще судьба другого человека, опередившего свой век. Имею в виду замечательного изобретателя подводной лодки Черновского.

Из каземата Петропавловской крепости он в 1829 году взывал, доказывал, что по его замыслу и чертежам можно создать подводную лодку для защиты родины от кораблей врага, для переброски десантов на неприятельские территории и для промышленных и торговых целей.

Дело его значится в Центральном военно-историческом архиве, кажется, так: «Фонд дежурного генерала, 1829 г.,

№ 39. «Дело по просьбе содержащегося в Петербургской крепости минского дворянина Черновского об испытании изобретенного им подводного судна».

И ведь крупнейший инженер того времени, генерал корпуса инженеров путей сообщения Базен, которому начальство переслало чертежи и объяснительную записку Черновского, дал самую положительную оценку этому проекту.

Но погиб в недрах царских тюрем этот смелый и гордый для своего времени замысел, как погиб его творец.

Так и до и после Веригина в царское время погибло немало удивительных людей — этих творцов идей, опережающих свое время на десятилетия, на столетия.

Не знаю, в какой мере достоверны ваши материалы. Тем не менее не сомневаюсь, что в ваших поисках и всем, кому дороги мученики науки, опередившие свое время, они, эти материалы, послужат толчком к поискам в дебрях наших архивов всё новых и новых данных о замечательных самородках — изобретателях и первооткрывателях, погубленных царским режимом.

*Научный сотрудник архива
И. Л. Старобельский».*

Из письма студента МГУ И. Н. Стромьинского:

«Не буду много рассуждать.

В своих комментариях к найденным листкам с интересными выдумками какого-то Веригина вы пишете, что уже неоднократно бывали на станции, где купили вишни, но никто не знает этой женщины, у которой были такие примечательные листки.

Ну и что ж? Приехала женщина. Продала у станции вишни. Уехала. Но что вы конкретно предпринимаете для поисков других листков? Ведь тут же может быть и впрямь какое-то открытие.

Может быть, у этой личности, торгующей вишнями, имеется сотня таких листков, а она разбазаривает их для упаковки своих овощей и фруктов.

Так если вам, уважаемый товарищ, нужна помощь в поисках этой женщины, охотно могу содействовать.

С уважением,

*Стромьинский Иван,
Москва, Новоподмосковное шоссе, 16, корп. 7, кв. 42».*

Телеграмма учеников 7 класса «А» 5-й школы города
Закошанска:

«В редакцию журнала «Бюллетень естествознания и фантастики».

Наш вопрос автору двоеточие он пишет всерьез или в шутку тчк Если всерьез пусть пишет листки бессмертием тчк Обязуемся оказать помощь поисках тчк Если выдумал пусть не шутит а скорее доскажет все до конца».

*(Десять подписей школьников 7 класса «А»
Закошанской 5-й школы.)*

|| Было еще письмо одного читателя журнала. Длинное. Неодобрительное.

Привожу только последние строки из этого письма:

«...Энергия природы! Что ж тут удивительного? Ведь человек ни на минуту не обходится без нее. Только потому и существует, что все время потребляет энергию природы. Например, разве пища человека не продукт животной и растительной энергии природы?

Так о какой же энергии говорит Веригин? И в чем его догадка? Все непонятно. И стоит ли волновать читателя, занимать его ум какой-то «идеей» о тысячелетней жизни? Сумасбродный замысел. Искатель-фантазер просто замахнулся на неосуществимое дело. И не стоит тратить силы на продолжение поисков материалов о Веригине...

Н. Симов, пенсионер».

|| Но было еще и другое читательское высказывание, как бы возражение Н. Симову:

«Самое легкое — махнуть рукой на все. Еще бы! Ну можно ли представить себе, что человек отгадал тайну продолжения жизни человеческой на тысячелетие! И когда же? Сто лет назад? Чудеса! Алхимия в XIX веке!

Но не стоит отмахиваться. В поисках философского камня алхимики пытались в средние века заставить элементы претерпевать превращения. Тщетные попытки! И столетия за столетиями над ними смеялись. А вот в наши дни ученые

в своих лабораториях создали 11 новых химических элементов, которые были припрятаны природой.

О полете на Луну тоже в свое время только в сказках писали. А теперь — пожалуйста!

По всему видно — Веригин был серьезный человек. Но что за невнятица: он подметил, будто кипрей растет под музыку (странно, конечно). А что дальше? Неизвестно. Это, видимо, помешала контузия, потеря памяти. Но ведь память часто восстанавливается. Вот и считаю, что следует продолжать поиски сведений, связанных с именем Веригина.

Читатель Гаврилов С. Т.».

Еще до получения писем и телеграмм я решил продолжить поиски материалов о Веригине. Прочитанные высказывания, как прямые, так и «по поводу», окончательно убедили меня в правильности моего решения. Но как приняться за поиски?

Над этим я ломал голову.

ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН

Всю ночь шел дождь. То постучит: так... так... так... — походит по крыше, то остановится, уgomонится. Все равно — еду еще раз в Мезенцово. Искать женщину с вишнями.

...Вот и платформа Мезенцово.

Сошел с поезда. Кругом пусто. По-осеннему грустно. Небо голубое, с пепельно-серыми облаками. Отяжелевшие от дождя кусты опускали ветки к земле.

Спуск с платформы — шаткая лестница. Тогда внизу около нее сидели две женщины. А сегодня — ни души.

У кого спросить про женщину с вишнями? Я огляделся. Кафе, парикмахерская закрыты. На низком здании надпись: «Мебель». Но на двери белеет бумажка: «Закрыт на учет». Другая тяжелая дверь, наверно ведущая в складское помещение, раскрыта. Около нее стоит молодой человек в модной куртке — черная кожа и трикотажные рукава.

У открытой двери — грузовая машина. Грузчики стаскивают огромные закрытые ящики и проносят их мимо молодого человека в куртке. Он тут же отмечает что-то в

листке и любовно поглаживает ящики, на которых нарисованы зонтик и рюмка.

— Простите,— сказал я, подойдя к открытой двери,— я хочу спросить...

— «Тюльпана» нет, и неизвестно...— Молодой человек повернулся к грузчикам: — Легче... аккуратней... тут не пальто, а мебель...

— Простите,— повторил я,— я хочу спросить...

— Я, как директор магазина, вам, гражданин, уже ответил: «Тюльпан» не поступал. Когда придет, неизвестно. Посторонитесь!!!

«Что за тюльпан?» — недоумевал я. И, дав дорогу грузчикам, сказал:

— Послушайте, товарищ, я ищу женщину...

— Ищете женщину? — Директор посмотрел на меня.

— Женщину, что в воскресенье торговала вишнями.

— А! Об этом мы поговорим в моем кабинете... Саша, кончай тут,— обратился он к грузчику,— я все сосчитал. Идемте.

И когда мы уселись на полумягкие стулья у лакированного столика, директор, конфиденциально улыбаясь, сказал:

— Вы меня спрашиваете о женщине, которая торговала вишнями?

Я с радостью закивал головой.

— Да! Торговала: разрешено. И записалась у меня в очередь на импортный югославский гарнитур «Черный тюльпан». Дочь замуж выдает. Очень ей нужен гарнитур. Вишнями торговала.

— Да... Да... Да...

— В Москве на «Тюльпан» запись чуть не на два года,— там как бы отцвели тюльпаны... А тут у нас благоухали и зимой...

— Так ведь...

— Понимаю, все понимаю: она уступила вам очередь на «Тюльпан». Могу вас огорчить — очередность не состоится. И не ищите этой женщины.

— Не в этом дело...

— Понимаю вас. Обождите! Очередники оставляют нам открытки со своими адресами... Ньюша! — крикнул директор.

В дверях показалась головка. Копна золотистых волос. Голубые спокойные глаза.

— Принеси-ка заявки на «Тюльпан».

Я замер от радостного волнения.

— А их нет, Евгений Николаич,— пропел чистый, хрустальный голосок.— Все повозвращали заказчикам, раз «Тюльпана» не будет. Забыли?

«Вот это неудача»,— подумал я и вздохнул.

— Ничем не могу помочь, дорогой товарищ. Очень сожалею, тороплюсь. Желаю здоровья.

И директор, поклонившись, вышел из кабинета, пропустив меня вперед.

Я опять на площади. Моросил дождь. Одиноко стояли топольки у платформы. Роняли дождевые капли с желтеющих листьев. Я машинально поднял с влажной глинистой земли круглый плоский камешек. Под таким камнем тогда лежала стопка бумаги с записями о Веригине.

Так и звучит в моих ушах голос этой женщины: «Хозяин мой Иван Гаврилыч, царство ему небесное, сказал агроному. Конечно, нет того, чтоб дочка по вас вздыхала. Но ничего... ничего... Однако же, раз поступила в институт иностранных языков... Стоп! Стоп! Как же я забыл? Как раньше не подумал об этом?

Кончик ниточки опять в моих руках.

Назад. В Москву!

ЭТЮД О ЛЮБВИ И О ВИШНЯХ

Письмо редактору газеты Института иностранных языков «Голос студента» товарищу И. И. Харитоненко:

«Уважаемый Иван Игнатъевич!

Согласно нашей договоренности, посылаю Вам драматическую сценку «О любви и вишнях», которая как бы прямо обращена к незнакомой студентке Вашего института, дочери той женщины, у которой я купил вишни. Прошу поместить ее, если найдете возможным, в Вашей газете «Голос студента». Хочу надеяться, что этот этюд поможет мне в том отчаянно трудном деле поисков и розысков, к которому Вы отнеслись с таким сочувствием.

Ваш Нестеров».

Пелагея Семеновна так посмотрела на дочь, будто первый раз ее видит, и перестала окапывать кусты крыжовника. Лопатка, крепко уйдя в землю, стояла будто на страже: вот-вот надо будет вмешаться в разговор.

— Любишь, значит,— сказала Пелагея Семеновна.— Удовольствий в жизни ищешь! А законный твой жених, агроном, отменяется? Так, что ли?

— Не нужен он мне.

— Молчи!— крикнула Пелагея Семеновна и долгим взглядом посмотрела на стволы вишен и на кусты крыжовника.— Молчи! Стыда в тебе нет!

— Но я люблю другого, ну?

— Так, так! Приказываешь, значит, брать в дом не того, кто твоему отцу-покойнику сад этот помогал сажать, а какого-то...

— Не «какого-то», а того, кто...

— Знаю! Видели! Картинки учится рисовать!

— Так что же плохого? Ну, учится в художественном училище? Ну и что?

— Пусть учится, мне какое дело. Но в дом свой не возьми его. Слово мое крепкое.— И мать с силой поставила ногу на лопату.

— Вы что? Жизнь мою загораживаете? Смотрите, мама, думайте, что говорите!

И хотя высокий забор отделял сад Пелагеи Семеновны от соседского дома, она подбежала к забору, глянула в щелочку, вернулась и почти шепотом спросила:

— Твой, что ли, художник сбережет наш вишневый сад?

— Но я не выйду — слышите! — не выйду за жениха, с которым отец меня за глаза девчонкой сосватал.

— Ну, знаешь, дочь моя!.. Три года ходила в невестах нашего агронома, три года не отказывалась от его предложения...

— Да это все отцова выдумка. А я и не смотрела на агронома: старый, тридцать семь лет... Да пусть ждет сколько хочет! И за какое такое наказание я обязана выходить за него?

— А кто с твоим покойным отцом этот сад сажал? Кто саженцы нам привозил? Кто этот пятистенок строить нам помогал? Твой студент, что ли?

— Мама! Замолчите! Знаю! Наперед знаю ваши слова... — Дочь отвернулась.

— Ты пойми же, глупая! Я ведь уже разузнавала! Твой художник мне сам проговорился: родни у него не перечь... Наперед знаю: чуть в дом этот он войдет, как за ним из-под Тулы сюда потянутся и сестры его с детьми, и мать, и бог знает кто! И сад мой погибнет!

— Сад... — с недоумением оглянулась дочь. — Почему же он погибнет?

— А ты спроси кого хочешь! Вот выйди на дорогу, на шоссе, выйди, останови любую машину и спроси: «Кто лучше сбережет вишневый сад, который нас кормит, тот ли, кто картинки рисует, или тот, кто помогал сажать сад?..» А! Молчишь? Поняла, дочь моя? Дошло до тебя? — И мать ладонью ударила по стволу дерева: — Не на эти ли вишни я тебе в ГУМе туфли на этих... ну, как их там... на иголках...

— На шпильках, мама.

— ...ну, на шпильках, все одно, — туфли покупала. Не на эти ли вишни ты сама, сама заказала себе платье в ателье первого (первого!) разряда... И ты хочешь этот сад губить?! А сапожки тебе надо?

— Мама! Да я лучше в тапочках зиму прохожу, но не стану — поймите вы! — не стану любить того, кого не люблю.

— Ну, коли так, так вот тебе мое последнее слово: не пуцу на порог твоего художника... к депутату пойду... в суд подам... не пуцу...

«Так что же делать? Как ей втолковать? Кто поможет?» — плакала тихо дочь.

— Довольно! Хватит! Не реви! Выйдешь замуж как надо. Буду внучат нянчить. Порядок будет!

— Что ж получается? Вы, мать, не вишни, а любовь мою на станцию возите продавать в розницу?

— Не дури, говорю! Слушай: свадьбу к покрову сыграем. Весь поселок позовем.

...Уже за лесом заходило солнце. Были молчаливы деревья в саду. В ложбине направо за поселком стлался туман. И дочь и мать молчали. И не знали, что еще им сказать. Потом, не сговорившись, обе подошли к калитке и, распахнув ее, стали смотреть на узенькую тропинку, которая вела к большой дороге. И каждой, возможно, казалось, что придет какой-то новый человек и скажет, на чьей сто-

роне правда. Но по узенькой тропинке к большому пруду шли, переваливаясь с ноги на ногу, только гуси.

От автора

Если б я случайно был свидетелем такой сцены, то что бы я сказал? Надо подумать.

Ведь и агроном любит, ценит искусство, картины. А художник любит и бережет природу.

Но главное — как быть с любовью?

От редакции. Читателей просят сообщать отзывы об этом этюде автору по телефону . . . или по адресу: Москва, Г-19, Волхонка

ТАНЯ БОБЫЛЕВА

Ждал. Надеялся. И — дождался.

Было так.

Звонок. Снял трубку. Слышу голос — взволнованный, прерывистый, словно человек откуда-то бежал, бежал, вдруг остановился и сразу заговорил:

— ...про любовь. Про вишни. Напечатано в нашей газете. Вы писали?

— Да!.. Да! Я писал! Я! — вскричал я.

«Это она, — подумал я, — она, студентка. Дочь женщины с вишнями».

Не помня себя от волнения, шарю рукою по столу: карандаш! Где карандаш? Запишу, сейчас запишу фамилию, адрес.

Стараюсь быть спокойным:

— Кто говорит? Назовите себя.

— Меня зовут Таня... Таня Бобылева. Вы писали... что и художник сбережет сад не хуже садовода, а агроном может и картины понимать.

— Безусловно...

— А мама не верит. Мне ваша помощь нужна.

— И мне нужна ваша помощь. Я у вашей мамы спрошу о листках.

— Каких листках?

— Расскажу при встрече. Дайте адрес. И заодно поговорю с вашей мамой о художнике, о любви и об агрономе.

— Записывайте: поселок Шелковка...

— Пишу. Шел...ков...ка. Дальше?

— Метро «Юго-Западная». Выход к автобусу пятьсот одиннадцатому. Ехать по Внуковскому шоссе. Остановка автобуса называется «Шелковка»...

— Как так?

— Ну, и поселок и остановка на шоссе называются «Шелковка».

— Понятно.

— Сойдете с автобуса. Пройдете немного вперед по шоссе. Увидите, справа на лугу тропинка протоптана. И рядом указатели. Разные. Пройдете направо по тропинке через поле. Километра два... Будут постройки совхоза. Идите на эти постройки... Обогнете коровник... Спуститесь к речке. Там плотина. На плотине гуси... Ай, гуси тут ни при чем... Пройдете плотину. Увидите на пригорке деревню. Крайний дом под зеленой крышей— это наш дом. Поднимитесь на горку. Меж двух заборов тропиночка. Под зеленой крышей теперь дачники, а мы с мамой живем в домишке, что в саду. Я вас буду ждать — чуть откроете калитку, увижу. И прокричу: «Мама! Мама! Наш профессор идет к нам! Видно, грибы в лесу собирал... Вот не ждала!» Ну, мама обрадуется: раз профессор, очень ученый, так мама поверит и будет не против ваших слов. Приезжайте же! Очень-очень прошу. Выручайте! Скажите маме, что вы знаете разных художников. И все они имеют сады и берегут их.

— Приеду! Непременно. Когда?

— Сегодня суббота. Приезжайте завтра. В воскресенье ровно к двенадцати часам дня... Так буду ждать у калитки... Маме до вашего прихода ни слова не скажу. Она у меня догадлива. Ну, все. Пока!

— Таня! Таня! А как же зовут вашу маму?

— Надо же! Разве я не сказала?! Бобылева, Клавдия Степановна Бобылева.

«Клавдия... Степановна... Бобылева», — стремительно и косо набрасывает карандаш через весь листок моей записной книжки.

Трубка снова лежит на рычаге. Телефон молчит. Скорей бы! Скорей наступило бы это завтра!

ФЛОТИЛИЯ САРДИН И МОДНЫЙ СТУЛ

Было 11 часов 48 минут, когда я увидел вдаль на пригорке деревню. А вот и дом с зеленой крышей.

Вышел на проселочную дорогу. Отсюда, с пригорка, она спускается к пруду. Вот и плотина. Стадо гусей преградило дорогу. Гусак, опуская к земле изогнутую шею и шипя, решительно пошел на меня... Плавают в пруду утки. На низком берегу женщины полощут белье.

11 часов 56 минут.

Присел на скамеечку у сруба недостроенного дома.

Стендаль говорил: «Счастье человека лежит на дорогах самых обыкновенных».

А теперь я пойду меж заборами. Справа и слева надо мною будут склоняться тонкие ветви вишневых деревьев; и крапива, высоко подняв свои стебли, будет смотреть на меня из-за заборов; и, как всегда, репейник попытается зацепить меня своим игольчатым зеленым шариком; и лопух закроет своими листьями все щели в заборе.

12 часов 00 минут. Вот он, дом, где живет Таня Бобылева.

Но почему же она не встречает меня у калитки?

Она ведь обещала...

Полуоткрытая калитка в сад... А в саду — яблони, поддерживаемые тонкими подпорками, а за ними — кружевная зелень морковки, желтоватые зонтики укропа и огурцы... огурцы...

По узенькой тропиночке, задевая тонкие ветви вишневых деревьев, под окошками большого бревенчатого дома, где слышался настойчивый и капризно-тягучий голос ребенка: «Дай... дай» (дачники?!), я шел к домику со стеклянной террасой. Далеко в глубине сада из своего жилья высочила овчарка, звякнула цепью, взбежала на крышу своей хатки и молча стала следить за мной.

«Где же студентка Таня Бобылева? Почему не встречает меня?» — озираюсь, с тревогой думал я.

Отворил дверь террасы. Сколькo света, солнца! На миг закрыл глаза после тенистого полутемного сада и увидел: вот она... вот та женщина, что свертывала кульки из заповедных листов. Она!

Но теперь на ней была не кофта со случайными пуго-

вицами, нет! Сильно открытое платье с яркими крупными синими цветами обтягивало ее плотную фигуру; на короткой шее — модные чешские бусы. Гордо сидела она за столом с закусками.... А напротив нее восседал коренастый мужчина средних лет в голубой, с «молнией» тенниске и рядом с ним — худенькая женщина в закрытом лиловом платье (жена?). У него и у нее на безымянном пальце поблескивали большие, толстые обручальные кольца.

Все трое с удивлением посмотрели на меня.

А я... я растерянно смотрел то на тюлевые занавески, которые закрывали окна, то на розовую клеенку, местами вытертую до белой подкладки, то на закуски — консервные банки с воздетыми к небу крышками, — словно целая флотилия сардин, шпрот и килек подняла свои металлические паруса и готовилась к отплытию. А рядом и вокруг этой флотилии — бутылка с водкой, бутылки со сладкой наливкой. Я заметил почему-то, как лихо селедка в белой селедочнице, потонувшая под кружочками репчатого лука, глядела прямо на солнце своей гильотинированной головой. И застыли в немом ожидании глубокие пластмассовые тарелки с кружочками ярко-красных помидоров, фарфоровые тарелки, побольше и поменьше, с кружочками колбасы разного копчения; грибки в маринаде, картофель в мундире в белой кастрюле. А в углу на электрической плитке — большой булькающий чайник, на котором громоздился заварной чайник.

— Таню Бобылеву можно? — сказал я неуверенно и робко. — Здравствуйте.

— Таню? — с удивлением посмотрела на меня мать. — Ее дома нет. А что вы хотели?

— Я... она... — начал было я.

— Кланя! Что ж ты за стол не приглашаешь гостя? — сказал мужчина в голубой тенниске с «молнией».

— Садитесь, прошу, — заторопилась хозяйка. — Познакомьтесь: вот братец мой Валентин Степанович с супругой.

Не помню, кто из них подвинул стул. Помню только, что он был очень модный — неустойчивый, на тонких ножках и резко блестел на солнце своей полировкой.

Проклятый стул! Я был окончательно угнетен и подавлен этой полировкой. Боялся шевельнуться.

— Кушайте, пожалуйста, кушайте, — сказала хозяйка. — А давно вы с нашей Таней знакомы?

— Я, собственно, не знаком... Таня мне позвонила.

— Сама?! Первая позвонила? Так вы и не знакомы с ней? — наперебой заговорили за столом.

— Телефонное знакомство? — значительно усмехнулся Валентин Степанович.

— Все не то, — мучился я. Как разъяснить? И со всей убежденностью попытался сказать: — Тут дело касается газетной заметки...

— Какой заметки? — тихо спросил Валентин Степанович, задержав у рта вилку с селедкой.

— Моей... моя заметка... этюд в газете... Я написал этюд. И вот...

— Корреспондент вы, значит? Непорядки помогаете искоренять. Дело хорошее. Выпьем! Кланя, дай чистую тарелочку московскому корреспонденту.

Я машинально поднял рюмку. Блики солнца скользнули по голове селедки и остановились на моей рюмке с золотым ободком.

— Закусывайте... закусывайте, товарищ корреспондент, — подставляла мне консервы, помидоры и колбасу хозяйка.

Вот! Вот! Тем знакомым жестом руки, думал я, с таким же движением плеч Клавдия Степановна сворачивала тогда кульки из жестких листков столетней давности... Надо! Надо сразу, прямо спросить.

Я поднял рюмку и, закусив грибками, сказал:

— Я, собственно, не корреспондент. Мне случилось на станции Мезенцово купить у вас вишни. И вот...

ВСЕ ПОГИБЛО!

— ...Так вот, — собрался я с духом, — я хочу спросить о кульках.

— О каких кульках?

— Об упаковке. Точнее — о листках, из которых делались кульки для продажи вишен. На этих листках обнаружил я записи...

— А-а-а... Так вот зачем вы пожаловали... А зачем же говорите: Таня, Таня? Так что же, товарищ корреспондент, скажите прямо: агитация, злостная пропаганда какая была на листках? Конечно, документ от газеты вы нам предъявите... Потом... Отвечай, сестра! Что за листки ты хранишь? Откуда они у тебя? Прямо говори! Мы кто? Мы со-

ветские люди. Такие же, как вы, товарищ корреспондент.

— Я ведь сказал: я вовсе не корреспондент, просто написал в газету...

— Понимаю, понимаю, извините. Так говори же, сестра, что за листки у тебя?

— И скажу! И отвечу! — затараторила хозяйка. — Мой покойный Иван Гаврилович как был лесником, так охапками приносил такие листки... из санатория... Там когда-то имение было. Важные господа при царе жили. От них одни только бумаги остались... А Иван Гаврилович эти бумаги для оклейки вот этих стен приносил, чтоб по ним ну... шпалеры, обои пустить...

— Так знайте же, — не удержался я, — на этих листках, может, записана тайна тысячетлетней жизни!

— Тысячетлетней, говорите? Ага! А грибки в маринаде на вас смотрят, товарищ корреспондент. Хороши грибки в маринаде под «Столичную». Выпьем. Вот и долголетие будет!

— Послушайте же, — попытался я урезонить Валентина Степановича, — очень важные листки для науки, для людей...

— Ясно, товарищ корреспондент, все ясно. — Тут Валентин Степанович вдруг глянул в окно: — Сестра! Клавдия! Кролики-то твои из клеток побежали... Скорей!

Брат и сестра переглянулись и поспешно вышли из домика.

«Что делать? Как убедить этих людей, как получить от них все листки?..» — мучительно раздумывал я.

За столом с отсутствующим лицом сидела жена Валентина Степановича.

Я тоже молчал. Время тянулось невероятно медленно. Казалось, прошли не минуты, а часы.

— Ну и кролики! Беда с ними, едва в клетку загнали, — громко воскликнул Валентин Степанович, входя в домик вместе с сестрой.

— А хочу я вам сказать... — вдруг на певучий лад заговорила хозяйка дома, — хочу сказать: моей Тани не ждите. Конечно, угощайтесь, мы гостям рады, но Таня с женихом по выставкам гуляет... А насчет листов вот что получается. Со всей душой их дала бы вам. Но на рынке — сами знаете: то одному надо творог завернуть, то другому — зеленый лук, третьему — крыжовник... Продаешь, а рядом соседка попросит. Разве откажешь? Ну, и раздала все листки.

Так что не беспокойтесь. Кто ж их знал, что те листки понадобятся.

Я молча поднялся.

— Не повезло вам, товарищ корреспондент, — сказал сочувственно Валентин Степанович.

— Я же не корреспондент. Я, собственно...

Хозяйка и ее брат, продолжая что-то говорить, проводили меня до калитки. За мной с резким стуком задвинулась щеколда.

А на плотине, изогнув шею, мне вслед злобно прошипел гусак.

НЕТ! ЭТО НЕ СОН!

— Как я напутал! Как напутал! — терзался я, тяжело поднимаясь по лестнице.

Не зажигая огня, не глядя на кота Топа, который трогал меня лапкой, сидел я в пустой квартире. Окна были раскрыты на тихую Ленивку. В комнатах становилось все темнее и темнее. Я сидел, уронив руки на резные деревянные поручни кресла, поддерживаемые арапчатами, которые, по воле резчика, смеялись. Надо мной?

Вот, шурша, под окном пробегает машина — она спешит к своей цели. Вот на Москве-реке коротко прогудел пароходик. На нем катаются москвичи; их конкретная цель — отдых. Все кругом имеет какую-то свою «целевую установку». А я? К чему мне стремиться?

— Какая бессмыслица! Какая нелепая трата времени!.. — вздыхал я.

Наконец я поднялся с кресла.

Зажечь лампу. Взяться за работу. Пожалуй, за этот тяжелый пакет — рукопись начинающего автора. Буду читать.

Зазвонил телефон. Резко и настойчиво. Я нехотя снял трубку.

— Слушаю!

— Мне Григория Александровича!

— Я у телефона. Кто говорит?

— Таня... Бобылева Таня.

— Таня?! Откуда вы говорите?

— Из Шелковки. С почты. Простите меня. Виновата. Обещала вас встретить у калитки нашего дома в Шелков-

ге. Опоздала по уважительной причине: утром пошла было с моим другом, художником Петей, и его товарищами на выставку в Пушкинский музей. Знаете, верно? Так вот, очередь была страшная. Мы подумали-подумали: а не пойти ли нам в загс? Так и решили. Заняли очередь на выставку, а сами побежали в загс. Подали заявление. Теперь — все. Пусть мама как хочет. Не отступлюсь. Это вам спасибо. Хоть вы с мамой и не говорили про то мое дело, а меня крепко поддержали своим рассказом в газете. Так что спасибо вам все-таки большое.

— Хорошо, хорошо. Но скажите мне поскорее, как там у вас...

Но Таня меня не слушает.

— Из загса я уж на выставку не пошла, а на всех скоростях полетела в метро, а из метро — на автобус. Думала, успею. Просчиталась самую малость. Такая досадища! Примчалась домой — вы уже ушли, а мама и дядя Валентин Степанович растапливают русскую печь у дачников. Вы им сказали, что печатаетесь в газете, приехали за какими-то листками. Дядя и перепугался. Он что-то был раньше с газетчиками не в ладу. Вот они с мамой и решили: от греха подальше... Лучше пожечь все листки.

— И сожгли?! — вскричал я, схватившись за голову.

— Только начинали. А как я поняла, у вас есть какой-то интерес (может, я не так выразилась — тогда извиняюсь) к этим упаковочным листкам, так я сразу же накричала на мать, на дядю, раскидала щепки и поленья. Листки выхватила из пламени — и сразу в пакет. Звоню вам по телефону с почты. Завтра привезу самолично. С утра пораньше. Все. Пока все.

Телефон умолк.

А я... я стоял у телефона и машинально поглаживал его рукой. Какой ты добрый, старый телефон!

И вечерняя темь мне казалась белым светом.

Нет, это не сон: Таня Бобылева сдержала обещание.

Утром передо мной лежали листки, вытасщенные из горящей печки. Те самые листки, из которых женщина в коффе с разными пуговицами, продавая вишни, сворачивала кульки.

Позабыв обо всем на свете, я схватил первый попавшийся листок. Оказалась переписка двух врачей-психиатров. Я погрузился в чтение.

И предстал предо мною совсем иной мир.

Часть вторая

ПОТЕРЯННАЯ МЕЛОДИЯ

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ДОКТОРА ОЗЕРОВА ПРОФЕССОРУ СМЫСЛОВУ

Итак, я прочел первый попавшийся листок. Взялся за другой и сразу увидел: листки перепутаны. Не мудрено: верно, очень торопливо пихали их в огонь проворные руки мамыши и дядюшки Тани Бобылевой в Шелковке!

Я стал осторожно разбирать листки. Одни обгорели по краям — огонь русской печки едва лизнул их; другие покоробились, почернели и ломались при первом прикосновении.

Терпеливо подбирал я эти драгоценные полуистлевшие листки. И вот прочитал:

«Дорогой мой друг и коллега

Степан Иванович!

Жду твоего врачебного и товарищеского совета.

Мне, как тюремному врачу, надлежит обосновать медицинское заключение о действительной душевной болезни политического преступника Веригина, по образованию медика, обвиняемого в действиях, направленных к возмущению в народе и в войсках. Для меня, как эксперта, его болезнь столь же бесспорна, сколь бесспорен для суда факт свершения тяжкого государственного преступления оным человеком.

Твой Николай Озеров.

Прилагаю запись моей первой беседы с Веригиным.

Я пришел в тюремную камеру, чтоб освидетельствовать Веригина по поводу его вменяемости и дать экспертное заключение.

Арестант встретил меня вопросительным взглядом. Я отрекомендовался и спросил, как его здоровье.

— Дважды два... дважды два... Произнесите, доктор, произнесите же только эти два слова,— неожиданно, но

очень настойчиво сказал Веригин, не ответив на мой вопрос. — Итак, дважды два? — повторил он. Взгляд заключенного сделался насмешливо-выжидательным.

— Хорошо, хорошо господин Веригин, — поспешно сказал я. — Сейчас произнесу эти два слова. Но, пожалуйста, напомните мне, какой сегодня день?

— А-а... Вы вот о чем! Чаадаева объявили безумцем... И Чацкого, конечно, сочли сумасшедшим... Так вы, доктор, по поручению начальства пришли ко мне в камеру, чтоб проверить, в своем ли я уме. Не так ли? — Ясная, веселая улыбка преобразила лицо Веригина. — Извольте! Отвечу на ваш вопрос. Сегодня среда. 15 июля 1858 года. По святцам это день святого равноапостольного князя Владимира, а попросту — именины. Что? Удовлетворены? Верно?

— Верно.

— Ну, а теперь, доктор, повторите за мной: дважды два.

— Что ж, извольте. Дважды два...

— Стоп! Довольно, доктор, сознайтесь: чуть вы произнесете эти два слова — «дважды два», — как тут же в голове возникло и третье слово: четыре.

— Ну что же? Где дважды два, там и четыре. Но не понимаю, к чему вы клоните.

— А вот к чему: чуть подумал «дважды два», как готово слово «четыре». Слово «низ» тотчас же вызывает в сознании людей слово «верх», при слове «свет» немедленно появляется слово «тьма», слово «да» сейчас же родит слово «нет», «день» — «ночь». Их много, таких неперменных слов. А вот на слово «жизнь» тотчас у всех людей на свете мысленно возникает слово «смерть».

— Да, господин Веригин, где жизнь, там и смерть. Жизнь кончается смертью.

— Обязательно? Навсегда?

— Как дважды два — четыре.

— Так нет же! Настанет время, и наши потомки будут вспоминать нас и жалеть, что наш век был так короток и они не смогли увидеть нас.

— Вы хотите сказать...

— Я понял, как распорядиться со смертью.

— Так расскажите.

— Амеба не знает трупа, — медленно начал Веригин. — Она бессмертна. Один ученый подсчитал: от одной особи

ресничной инфузории тысячу триста восемьдесят четыре поколения. Ну и прекратил счет. А человеку отпущено семьдесят, самое большее — сто лет. Природа «даровала» человеку разум, ассоциации, волю, но укоротила жизнь.

— Теперь ответьте мне на два вопроса, — сказал я. — Первый вопрос: вы хотите, чтоб человек жил вечно? Ищите бессмертие?

— О нет! — живо отозвался Веригин. — Вечно живут только боги, выдуманнные людьми. А я... я ищу (и найду) то тысячелетие, что природа отобрала от человека. Счет веду на тысячу лет.

Почему на тысячу, а не на миллионы... миллиарды?

— А потому, что в природе есть такой счет. Вот секвойя: часы жизни этого дерева природа завела даже не на одну тысячу лет. Ну, это особый разговор.

— Теперь, коллега Веригин, второй вопрос: как вы думаете даровать человеку тысячелетнюю жизнь?

— Исхожу вот из чего. Вы врач, и я врач. Видим — человек болен. А что такое болезнь? Это значит — упала, ослабела энергия сопротивления организма какому-то внешнему или внутреннему воздействию. Но вот человек умирает. Значит, он износился, источник энергии прекратился. Энергия иссякла. А я нашел то необходимое, чтоб восстановить эти живые единицы, этот источник энергии.

— Так-то так, — говорю я, — но все это теория, а на практике как? Чем думаете вы отменить закон бытия?

— В то утро, 15 июля 1855 года, на моих глазах произошло событие. И событие это подсказало мне мою догадку.

— Как отодвинуть смерть на тысячелетие?

— Да. Так. Только вся беда в том, что...

Тут вошел унтер и доложил, что арестанта вызывает следователь.

На этом беседа оборвалась».

ВТОРОЕ ПИСЬМО ДОКТОРА ОЗЕРОВА

«Дорогой Степан Иванович!

Душевно признателен тебе за дружескую готовность помочь мне в моем ответственном казусе.

Следуя просьбе твоей, спешу выслать тебе в самой точной форме описание обстановки жизни больного политического преступника Веригина.

Фамилия, имя, отчество. Веригин Дмитрий Дмитриевич.

Родители (вопрос наследственности). Отец — врач.
Мать — дочь инженера-путейца. Никаких отклонений от душевной нормы ни по отцовской линии, ни по материнской не наблюдалось.

Воспитание Д. Д. Веригина. Родители Веригина, воспитывая в ребенке натуралиста, развивали в нем жажду познания природы и дар удивления перед ее тайнами.
«Удивиться — открыть — победить» — вот таков был завет родителей сыну.

Какие способности преобладали у Веригина в раннем детстве? Естественные и математические.

Кого из деятелей науки Веригин считал для себя образцовыми? Отца ботаники Теофраста и великого хирурга Николая Ивановича Пирогова.

Какой писатель или поэт был у него самым любимым? Почему? Пушкин. Овидий. Считает, что Пушкин многообразен, как природа в ее вечной изменчивости. Овидия признал своим за его «Метаморфозы», за поэтические образцы бесконечных видоизменений.

Где Веригин учился? Сначала дома. Отец преподавал ему математику и занимался с ним энтомологией по Реомюру. Мать учила его языкам и музыке. Даже была уверена, что из него выйдет композитор. Он сдал экстерном за курс гимназии. А после занимался на медицинском и слушал лекции

на физико-математическом факультете университета в Москве.

Окончил ли университет?

Да.

Что делал после университета?

После сдачи всех экзаменов, получив диплом врача-хирурга, покинул университет. Севастопольская кампания. Там под руководством Пирогова приступил к операциям.

А после Севастополя?

Врачевал в одном из уездов Российской империи.

Почему задержан и отдан под суд.

После войны бывал за границей. В Лондоне встречался с Герценом и Огаревым. Огарев был ему ближе, чем Герцен. К тому же с Огаревым он был знаком, был дружен еще в университете. Однако от Герцена получал прокламации и воззвания. Прибыв в Россию, стал распространять эту литературу в казармах среди офицеров. Но кто-то выдал его полиции.

Конечно же, дорогой Степан Иванович, я врач, а не следователь — и не напрямую задавал вопросы подсудимому. Этот «материал», извлеченный из моих бесед с Веригиным, я представил в виде вопросов и ответов только для твоего удобства и в целях лучшего понимания сути дела, чтоб тебе виднее была больная точка его души.

Продолжаю запись моей беседы с Веригиным.

— Так вот, Дмитрий Дмитриевич, расскажите мне о вашей догадке, — начал я. — Как она выглядит?

— Она связана с ростом цветка под мелодию моей флейты.

«Похоже, он заговаривается. Плохо дело!» — подумал я, но переспросил:

— Как вы сказали? Цветок рос под мелодию?

Веригин как-то замялся. Смутился. Лицо его стало задумчивым.

— Это длинная история, доктор, но я вижу, что вы не торопитесь. Пожалуй, я все-таки попробую. Когда в детстве я с отцом ходил по полям и лесам, отец много говорил мне о растениях. О том, что они наши друзья и помощники. «Не было бы растений — не было бы кислорода, — говорил он. — А лекарства? Большинство их готовится из трав, плодов, листьев». Мой отец был убежден, что в растительном мире есть средство от всех болезней — туберкулеза, рака, проказы, чумы...

Мать поддерживала отца, но шла еще дальше. Она уверяла, что растения чувствуют ласку и отвечают на нее — их листья делаются крупнее, цветы ярче. «Они мне улыбаются», — говорила мама. Отец смеялся.

Мне было лет одиннадцать, когда мы с отцом пошли на охоту. Присели отдохнуть на краю болота. Отец показал мне растение, которое поедает насекомых, — росянку. Впервые узнал я о хищных растениях. Меня это поразило. Я поверил во всеобъемлемость растений, в их могущество, в их родство со всей природой, а значит, и с нами. Моя мать умерла, когда я еще не закончил курс наук в университете. Я очень любил свою мать, и ее преждевременная смерть меня потрясла. Вероятно, в это время у меня и появилась мечта о продлении жизни человека.

Веригин замолчал, прикрыв глаза рукой.

Я тихо вышел из камеры».

ТРЕТЬЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ДОКТОРА ОЗЕРОВА

«Назавтра я опять посетил Веригина.

— Вы, кажется, еще что-то хотели поведать мне, Дмитрий Дмитриевич?

На лицо Веригина набежала тень:

— Вы правы, доктор. Я еще не все рассказал вам. Только вот не знаю, стоит ли говорить. Я и сам в это и верю, и не верю. Часто после бессонной ночи в хирургическом бараке я под утро приходил на берег моря. Туда, где на самом обрыве росли сосна и три куста иван-чая,

Веригин умолк. Словно забыл обо мне,

— Что же дальше? — тихо спросил я.

— Так вот, — восторженно воскликнул он, — я часто приходил к этому обрыву. И знаете, доктор, со мной всегда была вот эта маленькая флейта. И я, чтобы передохнуть, играл одну любимую мелодию. Я сам ее сочинил. Я играл, и казалось мне, что я не один, что кусты иван-чая прислушиваются к моей мелодии. И больше того — однажды мне показалось, что (поверьте, доктор!) какому кусту чаще играешь, тот лучше растет. Поднимается выше других. Да, да... словно слушает и под мелодию растет. Поверьте мне: не один и не два раза я приходил к этим трем кустам иван-чая.

— Кипрей? Обыкновенный кипрей?

— Да. Кипрей. Или иван-чай.

— И растет под мелодию?

— Именно. И чуть мне это показалось, я решил проверить. Стал приносить линейку. Вбил палочки около каждого куста, стал на них делать пометки. Зарубки. Выбрал один куст. Поиграю — измерю. И на палочке отмечая. Опять поиграю. И вижу — растет. Чуть ли не на глазах. Опережает остальных. Понимаете?

Я развел руками.

— Я и сам не верил, — тихо продолжал Веригин, — Но вот... убедился. А понять ничего не мог.

— Это и есть ваше открытие?

— В то памятное утро, 15 июля 1855 года, в тот самый час я (в который раз!) увидел: не только растет куст иван-чая, которому я играл, но на глазах моих начинают развеваться лепестки его лилово-красных цветков. И сразу же мне пришла в голову...

— Эта догадка, которая должна отодвинуть смерть на тысячелетие?

— Да! Вы угадали, доктор! — воскликнул Веригин.

— Так в чем же состоит эта догадка?

Веригин горестно всплеснул руками:

— Тут удар пушки... контузия... я очутился в госпитале.

— Так что же? — добивался я.

— Не знаю, доктор, что и сказать.

— Забыли?

Веригин молчал, стиснув руки.

— А когда вы выздоровели... вы приходили к кусту? Играли?

— Приходить-то приходил, но мелодию я забыл. Контузия отняла.

— Так что же? Чуть вспомните мелодию — вспомните и свое открытие, как укротить смерть?

— Хочу верить, что так и будет. Только бы вспомнить!

— Флейта при вас. Так вот. Сейчас принесут цветок. В горшке. А вы заиграете. Посмотрим: будет цветок расти?

— Нет, нет! Не надо, доктор. Смешное дело! Я ведь уже говорил вам — я пробовал. Много раз. До контузии. И после. Разные мелодии—это не то. Цветы их не любят. А вот ту, единственную, которую эти цветы понимали, ее-то я и забыл.

Веригин покраснел. Взгляд его стал раздраженным и нетерпеливым.

«Ага! Он явно устал. Перенапряжение», — подумал я.

— Да! Забыл! — почти крикнул Веригин. — Контузия проклятая! Та единственная мелодия вылетела из памяти. Напрочь. Вот и все. И все. И не хочу об этом больше думать.

Но Веригин вдруг качнулся, прижав ладони к вискам:

— Мои записи... вычисления... понимаете? И все... все останется в судебном архиве. Немыслимо!

С невольным сожалением смотрел я на Веригина. Он поймал мой взгляд. Выпрямился.

— Доктор! — схватил он меня за руку. — Не сострадайте мне! Об опасностях для себя я не думаю. Верьте мне: не я, так другой споет об этом лучше! Но стрелки часов природы будут передвинуты! Тысячу лет будет жить человек... вечно юный.

Мы расстались. Уже за стенами тюрьмы я с горечью говорил себе:

«Забытый мотив... передвинуть часы природы... цветок... флейта. Душевнобольной человек!»

Вот она, жизнь человеческая!

С нетерпением жду твоего совета, дорогой Иван Степанович, как лучше на суде оградить больного человека от нависшей над ним судебной расправы.

Твой Николай».

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ТЮРЕМНОГО ВРАЧА
НИКОЛАЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ОЗЕРОВА ИЗ МОСКВЫ
ПРОФЕССОРУ СТЕПАНУ ИВАНОВИЧУ СМЫСЛОВУ
В ПЕТЕРБУРГ**

«Дорогой друг и коллега Степан Иванович!

Суд свершился. Все пропало! Хожу как потерянный.

Подсудимый сам на судебном заседании резко отверг мое медицинское заключение.

— Я избрал свой путь! С него не сверну. Легенда об Икаре — только легенда, — говорил подсудимый. — Но человек больше легенды, мифа, которые он сам же создал. Так что же! Поиски, направленные к раскрытию тайн жизни и смерти, делают сумасшедшие?! Не считаете же вы безумцем, сумасшедшим, душевнобольным замечательного инженера, гениального живописца Леонардо да Винчи — ведь он через сотню-другую лет после алхимиков пытался преодолеть земное притяжение, создать механический летательный аппарат. Свои наблюдения над полетом птиц он связал с математикой и с механикой. Сначала легенды, затем алхимики, и вот уже в мир приходит Леонардо со своими расчетами, с наукой. И предсказывает человеку: ты будешь летать лучше птицы! Что бы со мной ни случилось, я буду бороться за свой поиск. Это мой долг перед собой, перед народом, перед человечеством.

Была еще врачебная экспертиза. Но и она отвергла мое заключение.

Короче говоря, в приговоре прочли: «Двенадцать лет ссылки». Не мог я удержаться от слез, слушая приговор.

Вот и не знаю, как вернуться мне к моей будничной медицинской работе — лечение болезней, лекарство, выслушивание жалоб арестантов, доклады начальству, — как снова войти в привычную колею жизни. Слово какой-то праздничный магнетизм, исходящий от Веригина, призывает меня...

Крепко обнимаю. Твой Ник. Озеров».

РАПОРТ И ДОНОС

Продолжаю разбирать листы. Терпение... терпение... А что на этом обгоревшем, измятом клочке? Что такое?

Через весь листок поставлена наискось размашистая запись:

«Начальнику канцелярии по особым делам:

1. Веригина не считать в живых.
2. Дело прекратить. Направить в архив».

(Подпись с росчерком.)

«Веригина не считать в живых»?! Что это значит? Гляжу на другой, покрытый пятнами листок, читаю... не могу поверить:

«Приложение к делу о государственном преступнике Веригине Дмитрие Дмитриевиче, осужденном на 12 лет ссылки, согласно статье... Уложения о наказаниях . . .

жандармов Макарова Агафона Семенова и Лугового Ефрема Иванова.

РАПОРТ

Настоящим рапортуем о пропаже и гибели в пургу за селом Скоблики N-ской губернии и уезда преступника Веригина Дмитрия Дмитриевича. И мы, конвоиры Макаров Агафон и Луговой Ефрем, в этом присягаем...

Как въехали мы под вечер в село Скоблики, напоили там коней. А потом поехали дальше, чтобы ночевать в селе Дюжево, что стоит от села Скоблики в десяти верстах. Проехав овраг за селом Скоблики, стали видеть, что ветер поднялся и снег пошел. Коням и ямщику было невмочь ехать дальше, поскольку ветер в аккурат лепил им снегом в глаза. Поворотили назад в Скоблики, чтоб там ночевать. Однако же арестанта держали меж собой, как положено. Пурга разошлась, кони оступились с дороги и провалились в снег. Пристяжная постромки порвала, супонь у коренника развязалась, возок в овраг опрокинулся. И пришла беда в том, что коренной как с места рванул, так возок бить стал его по задним ногам. Коренной и понес этот возок. А нас из возка вывалило и в разные стороны разбросало. Ямщик, видно, в село Скоблики побег, куда, наверно, направление имели кони с возком. Мы один другого кликали в темноте

и в пурге и едва дозволялись и сошлись. А на наш крик преступник будто из оврага и темноты едва слышно сначала отзывался. Крикнул раз и другой. И замолчал. Мы на его голос пошли было. И не нашли. Выходит, что его уж совсем занесло. В ту пору пурга унялась немного, а мороз все крепчал. И сами мы стали замерзать. Добрались едва до села. Стучали мы в окна, чтоб народ преступника искал. Но сделать сие можно стало, только как светлеть начало. И то еще мороз не отпускал. А снегу намело за ночь так, что овраг, где опрокинулся возок, перестал быть оврагом. Доверху снегу намело. Мужики села Скобликово рыли и пересыпали снег, а преступника не обнаружили.

Доказательство о пропаже и гибели оного Веригина будет обнаружено весною. Как снег сойдет, его труп обнаружится. А мы в том, что все так случилось, присягаем и подписываемся. Вместе с нами эту гибель заверяют понятые села Скоблики, в чем и они подписываются, и другие, которые неграмотные, кресты под сей бумагой поставили.

1858 год, декабрь месяца 18... дня».

(Подписи.)

Погиб! Веригин погиб под снегом. В пургу. Я нехотя перебираю ворох непрочитанных листков.

Но что это? Знакомый почерк с завитушками. Почерк доносчика Зимовейкина. Читаю.

Вот так так! По рапорту жандармов Веригин погиб, а по доносу Зимовейкина он бежал.

Как же так?

Перечитываю еще раз.

«Ваше Превосходительство!

Бежал! Он, злодей Веригин, бежал! До места не доехавши — и уже бежал. Вот лиходеи-то! Мы, верноподанные, жизнь, труд отдаем, стараемся, в беспокойстве пребываем, мучаемся денно и ночью, чтоб их, преступников, крамольников, возмутителей спокойствия царского, ловить, в места не столь отдаленные водворять, а они, видите ли, бегут себе и бегут: игру в кошки-мышки с нами затевают.

Но я, Ваше Превосходительство, ради Трона и ради Высокого Вашего дела опять постараюсь и помогу его, злодея, задержать. Можете не беспокоиться; и труд и усердие мои

Вам, Ваше Превосходительство, известны. А каторжник наш беглый не иначе, как в Москве объявится. Ведь у него, у этого Веригина, дела крамольные все в нашей Москве делаются, да и дружба вечная с профессором Порошиным, и амурсы с его дочкой Наташкой. А я, Зимовейкин, всегда тут как тут. Обхождение мое с людьми — деликатное. Так что не уйдет от нас злодей.

Уж я Вам, Ваше Превосходительство, докладывал, что давно наблюдения имею за профессором Порошиным, что живет в моем отдельном домике в Малом Кисельном переулке. И я уже снова натянулся, как лук, в Ваших руках и готов жизнь отдать ради поимки злодея. Не уйдет он от нас! Видит бог, не уйдет.

И по-прежнему ожидаю доверенного лица Вашего с приходом в любой день в пять часов пополудни в пивную Чашкина. Остаюсь покорный слуга Вашего Превосходительства

Терентий Зимовейкин».

КОЖАНЫЙ МЕШОЧЕК

«В редакцию журнала «Бюллетень естествознания и фантастики»

Уважаемая редакция!

Направляю вам продолжение истории о неизвестном искателе XIX века Веригине, а именно: письма тюремного врача, рапорт жандармов и отрывки доносов мелкого соглядатая Зимовейкина. Остальные десятка полтора листков так обгорели и износились, что мне после тщательной подборки их в должной последовательности пришлось внести нужные поправки и дополнения.

Получился несколько неожиданный рассказ Веригина о кожаном мешке, где хранился адрес Атлантиды. Рассказу я предпослал уцелевший листок с письмом, обращенным к Наташе Порошиной, а после рассказа прошу поместить последние материалы — доносы вездесущего Зимовейкина.

Уважающий вас

Г. Нестеров».

Письмо Веригина Наташе Порошиной

«Я здесь, Наташа! В Москве! На свободе.

До места назначения им не удалось меня доставить.

Это письмо я посылаю тебе через те же верные руки. Прочти сама, дай прочесть твоему отцу, Александру Сергеевичу. И, как всегда, потом сожги.

В Москве я пробуду недолго.

Я чуть не погиб в пургу. Под вой и свист пурги, заносимый снегом, видел сияние твоих глаз. И разве не твой тихий голос слышал я в ту лихую ночь? Ты, Наташа, ты всегда со мной, Эос моя золотая.

Твой навсегда Д.».

КОЖАНЫ И МЕШОЧЕК

(Рассказ Веригина)

Собака Ворожба

Итак, обоз спас меня от гибели. Возчики, которые откопали меня из-под снега, говорили мне:

— Не нас благодари, а нашу собаку. Это она учуяла тебя под снегом. А кличка ее — Ворожба. Вот она и наворожила тебе жить да жить.

Меня ищут

Всю ночь лежал я на большой русской печи на постоялом дворе, где меня гостеприимно приютили. Прикрытый дерюгами, рядом и мешками, лежал я, прижавшись к стенке.

К утру вьюга за окном отшумела.

Чуть рассвело, как закрипела дверь, шумно вошли жандармы.

— Эй, хозяин, мужики! — раздался окрик. — Бери лопаты. Всем селом — ссыльного из-под снега доставать. Откопать. Живо!

— И что его, сердечного, искать, ваши благородия? Ведь замерз. Вот весной снег сойдет, он и найдется, — затараторила хозяйка.

— Не твоего ума дело! Не разговаривать!

— А вот и не стану молчать! Не стану! — покрикивала хозяйка, шумно ворочая горшки в печи.

— Молчи, баба! Эй, мужики, поворачивайтесь! — командовали жандармы.

Заскрипела дверь. Захрустел снег за окошком под ногами людей. В избе стало тихо.

Я осторожно выглянул из-под мешка. В избе — ни души. Даже хозяйки нет: ушла, видно, задать корм корове и увела с собой ребят.

Рапорт о моей гибели

Ожидая возвращения жандармов, я опять забился под мешки и дерюги.

Но вот изба снова заполнилась людьми. Жандармы уселись за стол и стали писать. Хозяйка то и дело шикала на детей. Мужики молча курили. Наконец жандармы начали раздельно читать вслух рапорт о моей гибели. Я узнал, что меня похоронила вьюга. Всем, кто был в избе, жандармы приказывали:

— Подходи! Подходи! Подписывайся. Вот здесь. Следующий. Неграмотный? Ставь крест. Следующий... Ну, все.

Затопали жандармские валенки. Снова заскрипела дверь. За окном послышался звон бубенцов.

Я спасен

— Уехали, окаянные! — воскликнула хозяйка.

— Эй, штрафной!.. Ссылный!.. Беглый!.. — на разные голоса звали меня возчики. — Слазь! Картошки поспели. Садись с нами за стол. Вот как пурга уймется, уедешь с нами. Собачка, вишь, чувствительная — не первого тебя из беды смертной вызволила.

А собака Ворожба словно понимала, что говорят о ней, и высунула из-под лавки свою мохнатую смышленную морду с блестящими карими глазами.

Снова пурга

Это было во вторник. 19 января. В среду утром я уже собрался с обозом двинуться в сторону Москвы. Но возчики заговорили:

— Пути не будет! Вишь, как небо заволокло.

И действительно, к вечеру опять все потонуло в белом мраке.

Когда стемнело, в избу набилось много народу. Вьюга разыгралась не на шутку. Всего несколько шагов было от хаты до сарая, но, чтоб присмотреть за лошадьми, пройти к сараю, возчики выходили гурьбой и то и дело хватались друг за друга.

За окошком завывал ветер. Две собаки, свернувшиеся калачиком в избе под лавками, то и дело горестно взвизгивали в ответ на каждый порыв ветра. Подвывали, умолкали.

— Чуют недоброе, — говорили мужики.

Наступила ночь. Я лежал на печи, прижавшись к стенке, чтоб не тревожить троих крепко спящих ребят, один другого меньше. На лавках, на полатях, на полу спали люди. То и дело кто-либо просыпался, вставал и заменял догоревшую лучину новой.

Мне не спалось: «В Москве мне показываться опасно... но нужен паспорт... и тотчас же, немедля, — за границу, а там...»

Собака Ворожба не ошибается

Вдруг мне послышалось, словно кто-то часто и дробно стучит в окошко. Прислушался: нет! Видно, почудилось. Только ветер воет в трубе да вьюга бросает снег в оконце. Уснул. Проснулся я под жалобный вой. У двери выла собака Ворожба. Мужики, просыпаясь, стегали ее кнутами, загоняли под лавку. Но Ворожба все возвращалась к двери. Она улеглась у порога и, чуть-чуть приподняв голову, выла все громче и громче. Что-то неладное чуял пес.

Один из мужиков проснулся. Разбудил соседа:

— Идем коней посмотрим.

Они натянули валенки и направились к двери. Собаки сразу же с лаем кинулись вслед за людьми. С трудом открыли дверь из сеней на двор — столько снегу нанес ветер на крыльцо.

— Стой! Человек. Человек за порогом лежит!.. — кричали возчики.

Джунгли. Сумбатов

Я соскочил с печи. Увидел: внесли кого-то в избу и положили на лавку. В полутьме я разглядел старого, с большой бородой полузамерзшего человека в башлыке, натянутом на голову, и в больших валенках. Все — возчики и хозяева — столпились около него. Я взял руку старика. С трудом нащупал еле заметное биение пульса.

— Снегу! — приказал я. — Скорей!

Два мужика принесли снегу; стали растирать полузамерзшего путника. Хозяйка пыталась напоить его горячим молоком с водкой.

Наконец несчастный широко открыл глаза, приподнялся. Стал оглядываться.

Все оживились. Даже собаки. Ворожба, длинная и лохматая, радостно визжала, а хозяйская собака, коротенькая, маленькая, пылкая, с огромными грустными глазами (ее почему-то называли Мухой), стала метаться из угла в угол и лаять.

Старик, видно, не понимал, где находится.

— ...Джунгли... джунгли... — вдруг заговорил он. — Сумбатов! Скорей... спасай черепки... вода настагает... не пройду... вода... увидимся в России. Дойду... дойду...

— Какие джунгли? Какой Сумбатов? — спросил я.

Ответа не получил. Очевидно, старик впал в забытие. Все снова улеглись на лавках, на печи и на полатах. Я присел у изголовья больного. Незаметно задремал.

Слуга Никанор

Сквозь сон я почувствовал, что кто-то тихонько трогает меня за рукав. Проснулся. Поймал на себе взгляд старика.

Взгляд этот был удивленный и очень добрый.

— Где я? — спросил он.

— В деревне Скоблики.

— А где Москва?

— Москва?! Далеко. Очень далеко. А кто вы?

— Да слуга. Никанор. Слуга барина моего Федор Федоровича Сумбатова... Отстал я... слуга нерадивый... Беда... беда, — шептал он, как в бреду, и вдруг забеспокоился: — А вы, батюшка, кто будете?

— Я врач, доктор я.

Тут больной, полузамерзший человек затих и закрыл

глаза. Так он пролежал, тяжело дыша, несколько минут и вдруг поднял веки. Обвел избу ясным взглядом и пристально посмотрел на меня.

— Дохтур, батюшка, скажите мне по правде — буду ли я жив?

— Бог милостив, Никанор, бог милостив, — сказал я, опуская глаза.

— Нет уж, нет на мне милости божией, не уследил, не уберег барина своего, — горестно шептал старик. — Не приведет господь мне увидеть его. И пешком, и конем, и морем, и лесом — все спешил, спешил... и вот тебе конец — не дошел. — И вдруг зашептал быстро и таинственно: — А вам, дохтур, могу ль довериться? Верный вы человек аль нет?

Тяжелый приступ кашля прервал его вопрос. Никанор в изнеможении закрыл глаза и еле слышно прошептал:

— Поздно теперь выбирать да сомневаться. Будь что будет.

Кожаный мешочек

Старик поманил меня пальцем:

— Тайна есть... Передать надо барину... коли бог его сохранил... вот... Попадете в Москву, так найдите дом Сумбатова... адрес вот здесь. — И он указал рукой на небольшой кожаный мешочек, висевший у него на груди. — Берегите его, здесь все планы... карты...

— Какие карты?

— Как дойти до живой воды, до молодильных яблок... Барин-то черепки все собирал... Все расспрашивал у индейцев.

Я догоню

И вдруг старик стал бредить:

— Джунгли... погоди, погоди, Федор Федорович... Потонем мы с тобой... ты беги... Беги... Не оглядывайся... Я догоню...

Он застонал и открыл глаза.

— Сами снимите мешочек. Спрячьте. Сберегите его... Передайте.

Губы его тихо шевелились, но слов уже нельзя было понять.

Дело не в сказке, а в намеке

На старом погосте в январский яркий солнечный день вся деревня хоронила незнакомого старого прохожего.

После похорон я задержался здесь еще на сутки. Возчики собирались в дорогу. В избу беспрестанно заходил народ. Каждый приходивший спрашивал меня, кто был этот прохожий, откуда и не дал ли какого наказания напоследок.

Я терпеливо вкратце повторял одно и то же: имени не сказал, сам издали, из чужих стран, и что искал он, как в сказке, то ли живую воду, то ли что другое...

— Сказка — она и есть сказка, — недоверчиво сказал один возчик.

— Как бы не так, — возразил другой. — Да вот из нашей деревни люди уходили по сказке, шли по белу свету, искали белые реки...

— Так ведь не нашли!

— Одни не нашли, другие найдут! Нет, прохожий дело понимал...

— Так ведь нет чудес на земле, — утверждал я.

— Ну, живая вода есть на свете... Бьют где-то ее ключи... Есть она, эта вода...

— Сказки! Сказки! — говорил я и тут же ловил себя на том, что в глубине души я по-детски верю и в живую воду, и в молодильные яблоки.

А сам, держа в руках кожаный мешочек с какой-то неведомой картой, думал: сказка — сказкой, но дело не в ней, а в намеке, который неутомимо живет в каждой сказке. Так, может быть, и в этой карте таится еще неведомый людям намек?

Карта и записная книжка

Итак, остался у меня плоский небольшой потертый замшевый мешочек, потемневший и залоснившийся. Никанор носил его под рубашкой на прочном кожаном шнурке. В мешочке оказалась записная книжка, завернутая в кусок брезента, и карта.

Я осторожно расправил слежавшиеся листы книжки. Записи были сделаны черным мягким карандашом и хорошо сохранились.

На первой странице была только одна запись:

«Нашедший сию памятную книжку благоволит вернуть ее по принадлежности ее владельцу, Федору Федоровичу Сумбатову из России, проживающему в городе Москве» (далее следовал адрес, который я, по вполне понятным причинам, здесь не пишу).

Не стану пересказывать чужие записи. Скажу только: я был взволнован всем, что узнал из этой записной книжки. Я понял — Сумбатов захвачен той же идеей, что и Веригин. Но к ее осуществлению идет с другого конца.

А теперь последние материалы — два доноса, написаны рукою Зимовейкина. Вот они:

«Ваше Превосходительство!

А злодей-то уж в Москве! Мне на подмогу отрядите людей, чтоб задержать лиходея. Ходит он в два места: на Плющиху, в дом Сумбатова, что вернулся из дальних краев, и на мой Малый Кисельный переулочек, где Порошины пребывают. Где-нибудь да возьмем его. Может, на бульваре, у Рождественского монастыря по выходе с Кисельного переулочка, или еще где. А из повествования к Наташке вижу, что собирается этот беглый из Москвы скрыться. Пусть собирается, а я уж не упущу сию птицу, этого Веригина.

Вашего Превосходительства
покорный слуга

Терентий Зимовейкин».

«Ваше Превосходительство!

Не забудьте меня в своих милостях. Ведь с божьей помощью и моим старанием на Рождественском бульваре «под вечер осени ненастный» схватили мы Веригина. Теперь-то он уж кару получит такую, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Уповаю, что снизойдет Ваша милость и на меня, грешного,

верный слуга Вашего Превосходительства

Зимовейкин Терентий».

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С СОБОЙ?

Соскочили все гайки, развинтились все винты. Была машина, и нет ее: развалилась. Я бессильно уронил руки: нить удивительного поиска оборвалась.

Вот он, предо мной, этот листок. Последний из спасенных Таней Бобылевой.

Искатель тысячелетней жизни, сопровождаемый жандармами в ссылку, уцелел под снегом Сибири в дикую пургу, не сдался смерти, уже был на пути к спасению и не ведал, что в Москве его ждет западня.

Но куда мне девать себя? За что теперь приняться? Незаметно для себя я стал участником необычайного поиска. И вдруг вижу — все оборвалось... и мой душевный порыв иссякает. Так река в пустыне течет и исчезает, уходит в песок.

Я подошел к окну.

С бассейна звучат разрозненные восклицания, и какие-то мелодии оттуда долетают словно из густого тумана. Зато слышнее, как говорит старая Москва-река с молодым бассейном.

«Какая искусственная, зеленоватая вода в тебе, бассейн», — говорит Москва-река.

«А в тебе, Москва-река, совсем уж потемнела вода»...

«От заботы! От заботы!» — шепчет Москва-река и плывет, плывет меж каменных берегов.

Как беспокойно застучали большие часы на шкафу в ответ на ночной гудок! Одно беспокойство цепляется за другое. Совсем как колесики в этих часах.

Кто-то лизнул руку. О, это ты, мой старый пес! Зовут тебя Найт. Но ты отзываешься и на кличку «Ночь», «Ночка». Твоя морда легла ко мне на колени. В глазах твоих сострадание, озабоченность.

«Ты словно застыл. Смотри, как бы не оледенела твоя душа», — ты это хочешь сказать мне, пес?

Ты подпрыгнул, ты вскочил, ты встряхнулся, ты носишься вокруг стола, лаешь, приседаешь и снова кидаешься ко мне! Какой вопросительный взгляд у тебя!

Догадался! Догадался: встряхнуться мне надо!

Что ж, давай отодвинем это дело. Но как забыть тебя, неведомый искатель?

И старый пес участливо стучит хвостом по полу. Сухой стук. Но за ним я слышу:

«Конечно! Конечно! Да! Надо отодвинуть от себя это грустное дело... Встряхнуться! Ведь ничего не поделаешь».

И на этот стук я откликаюсь — поднимаюсь с кресла:

— Гулять! Пойдем гулять, Найт, по вечерней Волхонке.

В ответ лай отчаянной радости! И пес приносит свой поводок.

У двери толпятся, мешая друг другу, кот Тош в черном бархатном кафтане и еж Чок в своем игольчатом фраке.

«А мы? А мы? Не возьмут ли и нас гулять?»

Найт уже летит вниз по ступеням.

А где ключи? Здесь.

Дверь захлопнулась.

Тихо в переулке.

Высоко подняли свои лебединые шеи овальные фонари. Сосредоточенно встречает меня моя Волхонка.

На ночном летнем ветру шумит густая рощица тополей. Но на Волхонке она плотно заслонила здание, где в последний раз, покидая Москву, побывал Пушкин. Тогда здесь была первая московская гимназия. В этой рощице не горят фонари. О чем она теперь так задумчиво шумит?

Я снял поводок с собаки.

Обрадованный пес взбежал на пригорок, поросший густой травой. Он лает, бросается в траву, катается, вскакивает, встряхивается совсем так, как в Алуште, когда, поплавав, весь мокрый, он весело выскакивал из моря на песчаный берег. Летели брызги во все стороны. И сейчас он смотрит бодро и уверенно. Точно ночная свежесть смысла сосредоточенно-горестное выражение, с которым он глядел на меня в доме, постукивая о пол хвостом.

Мимо беззастенчивых огней бензоколонки Найт пробегает с пренебрежением: зачем она здесь? И вдруг остановился: удивленный, отрывистый лай!

Ах, вот в чем дело! Действительно смешно: деревья надели белые брюки. Конечно! Ты прав, мой пес. В темноте зеленые кроны деревьев совсем черные, а стволы, покрытые известкой, резко выделяются белизной. Белые летние брюки у деревьев. Конечно, есть чему удивиться, мой старый пес!

Ветер затих.

Редкие троллейбусы идут почти без пассажиров. Но водители, словно упражняясь, привычно называют остановку. Троллейбус уходит дальше. На цветах, на травах, на листьях деревьев возле музея лежит роса. Ни ветерка. Ни шелеста.

А как резко и гулко некогда звучали здесь, на Волхонке, голоса опричников Ивана Грозного! В такую ночь из конюшен выводили они своих коней, седлали их, с гиканьем и свистом носились по притихшему от страха городу.

А как протяжно разносилось по Волхонке строгое погребальное песнопение, когда сам Грозный хоронил в Чертолье лютого Малюту Скуратова, убитого в Ливонии! Все это было. Было.

Теперь, в этот поздний тихий час, небо над Волхонкой, дома, деревья в сквере возле музея, травы — все отменно и приветливо, как само слово «Волхонка».

Домой! Пора домой, мой пес Найт.

...Когда-то, в 1827 году, по Волхонке, по улице, на которой я сейчас стою, легкой, радостной походкой проходил и сворачивал на маленькую Ленивку тот, кто затем поднимался на третий этаж дома с правой стороны.

— Здравствуйте! Доброе утро, Василий Андреевич! — живо и приветливо говорил гость.

— Здравствуйте, Александр Сергеевич, — кланялся Пушкину Тропинин. — Пожалуйте! Ожидаю вас.

И художник принимался за свою работу: в тишине высокой просторной мастерской писал портрет Пушкина.

У самого подъезда, когда я стал ключом открывать дверь, Найт вдруг залаял и посмотрел на меня:

— Что, отошло? Оттаял? Встряхнулся?

«Да! Да! Совсем так, как ты, когда после морского купания вылезаеть на берег».

Уже поздно. За окном погасли фонари. Промелькнул одинокий огонек такси. Скрылся. Все тихо. Лишь тьма приползла к высоким окнам моего кабинета. Взошла луна. Она, конечно, прислушивается к молчанию Волхонки, услышала там те звуки, что недоступны ни мне, ни даже тебе, мой старый верный пес...

Да, Найт, ты хорошо мне посоветовал. Я встряхнулся. Ну, а теперь вот что: завтра утром поеду в Шелковку. Еще раз. А вдруг у этой вишневой бабы где-нибудь еще остались листки?

Решено. Завтра с утра — в Шелковку.

СНОВА В ШЕЛКОВКЕ

На следующий день утром на остановке «Шелковка» я сошел с автобуса № 511, который везет пассажиров в дальние рейсы. Припомнил: так — вперед по ходу автобуса.

Вот и спуск к речке. А где же гуси? Тот злой гусак, что яростно шипел на меня в мой первый несчастный приезд в Шелковку?

Гусей не видно.

Впереди — знакомый дом под зеленой крышей. Кого застану? Таню? Или мамашу? Как-то встретит меня Клавдия Степановна?

Овчарка в глубине сада подняла голову. Но не залаяла. Признала?

На крылечке перед стеклянной террасой сидели двое: Таня и какой-то человек лет тридцати пяти — тридцати семи с загорелым лицом. Таня, увидев меня, вскочила, а человек с загорелым лицом посмотрел на меня почти с испугом.

— Не беспокойтесь, Митрофан Иванович, они, — Таня указала на меня, — не жених мне, а просто знакомый. Садитесь, Григорий Александрович. Будьте знакомы: это наш агроном Митрофан Иванович.

— Я, кажется, помешал, — сказал я.

— У нас уже все сказано, — быстро ответила Таня.

— Может, я в другой раз загляну, — нерешительно сказал агроном.

— Нам не о чем говорить, — отрезала Таня, — вы отцу когда-то пятистенок помогали ставить, а я теперь за вас выходить должна?!

— Но два года сряду, Таня, на наше супружество вы не сказали — нет!

— Но я и не говорила — да!

— Но мамаша ваша, Клавдия Степановна, говорила мне...

— Не маме жить с мужем, а мне.
— Что ж остается?
— Остается? Расписаться с другим. Это я и сделала.

Лицо агронома исказилось болью:

— Загс не только соединяет, но и разъединяет.
— Ни к чему все эти ваши слова, Митрофан Иванович. Надоело, право! Бросьте!
— Я, пожалуй, пойду,— сказал я, приподнимаясь.— Сам вижу — помешал.

— Нет! Помогли,— сказал агроном,— тяжелый разговор лучше втроем.

Таня круто повернулась ко мне. И тут я сказал:

— Таня! Не осталось ли у мамы вашей еще хоть одного какого-нибудь листка?

Таня пожала плечами. Задумалась.

— Я все, что было, отдала.

— А где же мама ваша хранила листки? Может быть, какой-нибудь листок остался?

— Клавдия Степановна все держит на чердаке. В том доме, где дачники живут,— грустно сказал агроном.

...Воздух на чердаке был сухой, прогретый. Пахло пылью. Солнечные блики скользили по полу, по пустым бутылкам из-под керосина, обутым в соломенные переплеты, по сломанному примусу, по старой раме с разбитыми цветными стеклами и по... словам: *«Сообщения нашего заграничного агента»*. Эти несколько слов сохранились на картонной карточке. А карточка, наверное, отвалилась от какой-то большой пачки бумаг. Внимательно оглядываю старые, ненужные вещи и вижу листки и карточку. Лежали они меж старых исписанных тетрадок в большой плетеной корзине. О них Клавдия Степановна, видно, забыла.

Надо было бы спуститься по приставленной к чердаку лестнице и где-то в саду не спеша прочесть эти листки. Но мне не терпелось. Я подошел поближе к свету. Поднес к глазам первый попавшийся листок.

И вот что я прочел:

«...Как Вы знаете, я хорошо принят в некоторых эмигрантских кругах. Пользуюсь доверием. И мне стало известно: русские эмигранты в Женеве предоставили Вер-

гину большую посуду на предмет курса лечения в Карлсбаде (далее несколько строк стерто)... я доложу Вам в следующем моем сообщении.

Честь имею...
Всегда готовый к услугам

А. Святошин».

Как же так? Веригин, по сообщениям Зимовейкина, захвачен на Рождественском бульваре, а тут какой-то Святошин сообщает, что Веригин в Женеве и собирается в Карлсбад!

ЗАПРОС В КАРЛОВЫ ВАРЫ

Полуустой автобус № 511 нервно подпрыгивал на неровностях шоссе. Дребезжа всеми своими суставами, он добросовестно вез меня к городу.

Я горел от нетерпения. Скорей в Москву!

Я уже знал, что мне надо делать.

В Москве остановил такси. Не заезжая домой, помчался на Главпочтамт.

Через двадцать минут в моих руках была квитанция на заказное авиаписьмо, адресованное начальнику почты в Карловых Варах.

Я просил его помочь мне узнать, не был ли сто лет назад в Карлсбаде (теперь это Карловы Вары) русский эмигрант-революционер Веригин.

Дома радостно встретил меня мой «зверинец»: пес Найт, кот Топ и еж Чок.

Я похлопал Найта по блестящей спине:

— Ах, Найт! Ты и не знаешь, мой пес, как ты мне помог! Как хорошо, что я тогда послушался твоего совета и встряхнулся!

Весь день я был крайне возбужден. Ни за что не мог приняться.

А ночью никак не мог уснуть.

«Карлсбад... Карлсбад», — гудело у меня в мозгу.

А ведь я и сам не так давно побывал в Карловых Варах.

Нет, мне не уснуть сегодня...

И я стал вспоминать островерхие крыши домов, стек-

лянный купол над целебным источником Шпруделем, лесистые склоны Крушных гор.

С этими думами о Карловых Варах я незаметно уснул.

И настал день, когда я вынул из своего почтового ящика плотный конверт.

«Мы выполнили Вашу просьбу,— гласил ответ почты Карловых Вар,— на наши запросы получили разъяснение, что искомый Вами Дмитрий Веригин действительно был в Карлсбаде в 1863 году и оставил свою рукопись служащему тогдашнего пансиона «Черный лебедь». Ныне эта рукопись составляет фамильную собственность доктора Милана Капки, потомка того самого Капки, который сто лет назад звал русскогo эмигранта Веригина. Доктор Милан Капка охотно вышлет Вам вызов и пригласит Вас приехать в Карловы Вары в удобное для Вас время».

...Хлопоты, беготня, волнения! Наконец документы на руках.

Я снял трубку телефона:

— Шереметьево? Справочное бюро? Когда у вас в ближайшие дни рейс на Карловы Вары?

НА АЭРОВОКЗАЛЕ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

Вот и Карловы Вары. Ресторан аэровокзала. Столик у окна, выходящего на широкое взлетное поле. И за столиком — двое: молодой доктор Капка и я.

— ...Словно все это случилось не сто лет назад, а вчера, — с воодушевлением рассказывает мне доктор Капка, играя маленьким ключиком от старинного объемистого портфеля, лежавшего у него на коленях. — В нашей семье вот уже свыше ста лет хранятся мемуары господина... нет, не так я сказал... не господина, а товарища Веригина. Прошу вас!

И он положил передо мной этот драгоценный портфель с медной застежкой.

— Доктор! Товарищ Капка! Не знаю, как выразить вам свою признательность!.. ← начал я. — Однако какой тяжелый портфель!

— Не удивляйтесь. Сто лет назад мой предок Юлиус Капка перевел мемуары Веригина на чешский язык. Здесь,

в портфеле, в двух папках всё: и русский экземпляр и чешский. Мы, наша семья, иногда перечитываем этот труд и глубоко уважаем его автора. Дмитрия Веригина давно нет, но он как бы член семьи Капки. Вот. Возьмите.

И доктор Капка протянул мне медный ключик с за-тейливым узором. В нем были вплетены инициалы предка доктора Капки.

Я тут же открыл портфель.

В ресторан, где мы сидели с доктором Капкой, долетали слова о прибытии и отбытии самолетов... Слышался то приближающийся, то удаляющийся гул моторов. И под эти звуки доктор Капка прочел мне вслух листок, приложенный к русскому экземпляру мемуаров. Листок был написан рукой Веригина (я узнал его почерк),

Не сгубить народа,
Не сгубить и края
Там, где в род из рода
Речь звучит родная...—

так словами нашего поэта Ганки начал Веригин свое обращение к моему предку,— пояснил доктор Капка.— А вот после этих слов... Ах, вы, конечно, не знаете, ведь мой прадед служил в тогдашнем маленьком пансионе «Черный лебедь», где жил Дмитрий Веригин. Они подружились.

«Дорогой мой Капка! — писал Веригин.— Уезжая в Пелисье на несколько дней, я оставил Вам на хранение свои записи — о моем бегстве и спасении в тайге и о дальнейших событиях моей жизни в Швейцарии и Карлсбаде.

Уезжал я в Пелисье на каких-нибудь пять-шесть дней. Но судьбе угодно было забросить меня по одному делу за океан. Я побывал в Гвиане.

Дорогой мой Капка! Мне посчастливилось. Меня постигла удача, о которой я даже боюсь говорить. Впрочем, Вы достаточно владеете русским языком и сами все узнаете из прилагаемых записей.

Я уже на пути к родине.

Знаю, меня, может, ждет там гибель. Но мне невмочь жить на чужбине. Завершать то открытие, которое я сделал в Гвиане, я должен только в своей родной стране. Но везти с собой свои дневники я не могу. Причины понятны.

Не забывайте наши беседы о судьбах чешского народа. Как и вы, верю: чешский народ сбросит цепи австрий-

ского рабства и по-братски жить будет с русским пародом».

— Обратите внимание на этот документ.— И доктор Капка указал на дату расписки почтовой конторы в Гавре.— Смотрите: письмо и рукопись Дмитрий Веригин послал моему прадеду уже по пути в Россию. Как только достиг берегов Франции.

— А дальнейшая судьба Веригина... Вам что-либо известно о нем?

— Нет. И никто никогда не спрашивал о нем. Вы — первый.

ДОБРЫЕ СУМЕРКИ

С доктором Капкой мы сердечно распрощались в вестибюле большого современного отеля. Он называется «Черный лебедь» — совсем так, как назывался маленький пансион, что сто лет назад был на этом месте.

Отель «Черный лебедь» стоит на самой высокой горе. Из моего номера видно: с Крушных гор как-то осторожно и неторопливо в долину сходит лес, густой и тенистый. В природе этой страны ощущается благородная сдержанность, мягкость, но при этом категорическое постоянство: линии гор, спускающихся к долинам, мягки и легки, а неширокие речки нешумно, но настойчиво и уверенно катят свои воды вдоль дорог. Реки дружны с дорогами.

Вечер. Я один в комнате отеля.

За окном моего номера мягкие сумерки незнакомого города. Сумерки эти кажутся мне добрыми и благожелательными, как самый город.

С волнением гляжу на портфель. Медленно достаю из него одну старинную папку с потрепанными кожаными уголками. Другую.

Нет! Я не стану сейчас раскрывать их. Сборы в дорогу, перелет, встреча с доктором Капкой... Надо немного отдохнуть. И через час-другой взяться за чтение. Со свежей головой.

Я пошел бродить по городу.

Солнце уже совсем ушло за Крушные горы. Деревья затихли. И каждое дерево готовится к ночи — меняет свое дыхание, испарение.

И вот настал час, когда луна бросила на землю тени до-

мов, заборов и деревьев. Тишина. Никто не шагает по тротуарам, не ступает по теням домов. И они, эти тени, спокойно и уверенно протянулись по мостовой — кое-где сошлись, разошлись, изогнулись...

Уже совсем стемнело, когда я вошел в коридор отеля «Черный лебедь». Окна в большой темный парк были раскрыты. Все тихо. Свет круглого фонаря под окном выхватывал из темноты отдельные листья на ветвях деревьев. Дальше все сливалось в темноте. Только вдоль аллеи тянулась цепь тусклых огней. И казалось, что фонари стройным рядом висят в воздухе.

Я вдохнул полной грудью ночной воздух. Вошел в свой номер. И сразу же раскрыл потертый кожаный портфель.

Часть третья

КАРЛСБАДСКИЙ ПОРТФЕЛЬ

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ СУМБАТОВ

Из портфеля Милана Капки

Карлсбад.

Дневник Веригина

Чуть я появился в Москве, как первым делом пробрался на Малый Кисельный переулок. Александр Сергеевич Порошин сердечно обнял меня, обещал помочь с паспортом и билетом. Наташу не застал дома.

В тот же день вечером я пошел... нет, почти побежал по адресу, который сообщил мне старик Никанор, чтобы узнать, жив ли Сумбатов.

Помяну, светло стало у меня на душе, когда немолодой слуга, внимательно поглядывая то на меня, то на свои опойковые сапожки, снял с головы картуз и сказал:

— Да, сударь. Мой господин Федор Федорович Сумбатов здесь проживает.

— А где Федор Федорович?

— Они в угловой диванной сидят. При луне свои плитки каменные распаковывают, ищут что-то. Пожалуйте к ним. Обойдите кругом, сударь,— там ход через террасу.

Ярко светила луна. Возле дома буйно цвела сирень. Вечером еще белее казались ее цветы. Я обошел дом и кусты сирени. Луна освещала большие деревянные колонны. Дверь на террасу была открыта настежь.

Я невольно остановился.

— Вам кого? — послышался мягкий грудной голос.

В открытом окне неясно обрисовывалась высокая мужская фигура.

— Мне нужен Федор Федорович...

— Сумбатов? Это я. Бывший владелец сего замка, что завтра идет с молотка. Входите!

Сумбатов исчез, словно растаял в темном проеме окна.

Я поднялся по шатким ступеням. Вошел в дом.

Узкие полосы лунного света лежали на паркете, на стенах. Шаги мои гулко отдавались в высоких пустынных комнатах.

«Видно, вся мебель уже распродана, все вывезли», — подумал я.

При свете луны я увидел силуэт человека. Он сидел, согнувшись, на низком деревянном стуле спиной к двери. На полу перед ним были разложены какие-то черепки, валялись обрывки бумаги, веревки. В комнате стояла железная кровать с сеником.

Я закрыл за собой дверь. Она жалобно скрипнула. Сумбатов повернул голову:

— Садитесь! Прямо на сеник. Вольтеровского кресла не предлагаю, ибо его уже нет. Меня завтра до конца распродадут.

Он посмотрел в открытое окно. Гроздь цветущей сирени чуть касались подоконника.

— Взгляните! Того, что там, наверху, — луну... звезды, и того, что здесь, внизу, на этом грязном полу, — он протянул руку к сверткам, — не купить!

И Сумбатов снова нагнулся к своим каменным плиткам. Обо мне словно забыл. И, обращаясь только к ним (или к самому себе?), что-то говорил об Атлантиде, о джунглях, о покинутых городах, о письменах, начертанных на стенах древних храмов и лабораторий.

А пустые комнаты высокого деревянного дома, казалось, ловили его слова и усиливали их звучание.



«Как мне заговорить?» — терзался я.

Вдруг Сумбатов схватил с пола какой-то черепок и, не глядя на меня, подбежал к окну.

— Бесчинство! А я не хочу! — вдруг четко вслух сказал он, глядя на черепок, словно продолжая какой-то внутренний свой разговор. — Природа наградила человека смертью... Смерть... Издевательство! — почти крикнул Сумбатов. — Микроб бессмертен, а Гоголь жил сорок три года. Инфузория... какая-то туфелька... парамеция... одноклеточное существо не знает естественной смерти, а человек... Читали ли вы «Севастопольские рассказы»? — неожиданно обратился он ко мне и тут же горячо ответил сам: — Их написал поручик — иль подпоручик, не в этом дело, — зовут его Лев Толстой. Граф Лев Толстой. Ну, положим, природа отпустит этому подпоручику семь или восемь десятков лет. Спасибо, что ли, ей сказать за это? Разве в несколько десятков лет он, этот Толстой, исчерпает все то, что может и хочет сказать людям? Нет! Никогда! Тут потребуется иной счет.

Большие, гулкие, с высокими потолками комнаты подхватывали слова хозяина, который завтра уйдет из своего дома. Казалось, комнаты, поймав последний звук каждого слова и бережно подержав его одно-два мгновения в своей густой пустоте, отдавали друг другу этот последний звук, а затем прятали его в каких-то углах, где пауки уж вили свою паутину.

Я подошел почти вплотную к Сумбатову.

— Мне поручено передать вам... — начал было я.

Но Сумбатов не слушал меня. Он круто повернулся ко мне.

— Природа дает каждому человеку — и Гоголю, и Толстому, и мне — запас, конечно, разных сил, но все же дает неисчислимый запас ресурсов. Природа говорит: живи, твори, созидай, а смерти сопротивляйся! Вот тут и возникает парадокс. Мать, рождая ребенка, рождает жизнь, и рядом с ней — смерть. Противоречие? Нет! Беда? Нет! Катастрофа. А в чем? А вот... природа, видите ли, вселила в человека неистребимый инстинкт жизни. Неистребимый! И тут она же начинает убавлять, суживать, убивать человеческую жизнь. Иногда — постепенно. А то — и вдруг! Трах-тарахах — нет человека. Понимаете? Идею-то бессмертия в виде инстинкта жизни природа в человеке накрепко заложила. Так? Так! А вместо бессмертия — одни финтифлюшки

узорные... Видите ли, у него, у многоклеточного существа, клетки стареют, умирают, а вот одноклеточная амеба делится и живет... живет.

Меня невольно захватила странная и страстная речь Сумбатова.

— Слушаю вас, Федор Федорович, и вспомнился мне Кьюве. Помните, он говорит: «Жизнь есть сила, которая сопротивляется законам, управляющим мертвой материей: смерть есть поражение, нанесенное этому принципу сопротивления, и труп есть не что иное, как живое тело, подпавшее под власть физических сил»...

— Кьюве? Кьюве! Он велик! Гениален. Но труп есть труп. Понятно я говорю? Природа, сострипав свой эликсир жизни, взболтала, взбаламутила его и стала скупко раздавать всем живым существам, крохоборничать: вот столько можно, а больше ни-ни!

— Разгадала, говорите? Раз навсегда? А где же эволюция? Помилуйте! Ведь Дарвин...

— Дарвин? Пусть, — не дал мне договорить Сумбатов. — А ваш Дарвин придумал ли, как сделать, чтоб человек исчерпал себя? Чтоб инфузория не посрамила человека. За кем же сила? За микробом, который не умирает, или за тем поручиком, что «Севастопольские рассказы» написал и умрет через несколько десятков лет? — Сумбатов в упор посмотрел на меня: — А ведь люди когда-то нашли бессмертие на Атлантиде. Откуда я это узнал? А? Знаете вы, что это такое? — неожиданно бросил мне Сумбатов, указывая на черепки. — Отвечайте!..

— Это, по-видимому... — начал я.

— ...слепки, — перебил меня Сумбатов. — Слепки. Я снимал их в джунглях Мексики с надписей и изображений на стенах храмов, обсерваторий, дворцов, древних покинутых городов Мексики. Я прочел эти слепки. Люди ушли из своих городов в поисках Атлантиды. А почему? Надписи на стенах гласят: люди уплыли на блаженные острова, где человек не знает смерти и остается вечно юным. Эти люди узрели своими глазами ту грань, ту синюю черту, которую природа положила меж жизнью и смертью. Увидели, узрели, и им стало ясно, как отодвинуть грань смерти... Эти люди дошли до зерна, так сказать, до истока тайны. Идут годы. А человек не стареет. Вот так и запечатлено на плитках. Вы не верите? Я и слепок снял. Сейчас найду... где-то здесь, погодите... я... — Он не закончил фразы.

Послышались чьи-то твердые шаги, звон шпор. В комнату, крепко стуча сапогами, вошли двое. За ними слуга нес нагоревшую свечу.

— Всё! Всё мы, господин Сумбатов, осмотрели. Аукцион продолжим завтра. Так вот... А вы кто изволите быть?— Этот вопрос был обращен уже ко мне.

Щелкнули шпоры, их звон меня смутил: я буду опознан! Задержан!

— Так, случайно, мимоходом... Услышал об аукционе, — ответил я как можно спокойней.

Затихли шаги людей, что приходили к Сумбатову напомнить об аукционе. Я видел из окна, как они удалялись.

АТЛАНТИДА

Сумбатов вдруг внимательно посмотрел на меня:

— А, собственно, кто вы такой? Зачем вы здесь?

— Я пришел...

Но Сумбатов уже снова забыл обо мне:

— Мне осталось прочесть вот эти черепки... последние... Свести концы с концами. И тогда мир вздрогнет от счастья, зазвонят все колокола во Вселенной, солнце на небе остановится и задумаются звезды. Я верю, знаю: еще день-два — и я людям дам адрес Атлантиды, где люди были бессмертны. Адрес Атлантиды... А вдруг она, эта Атлантида, и есть те «блаженные острова», которые значились еще в атласах четырнадцатого века?.. Он должен быть где-то здесь. На одном из этих черепков. Ищу... никак не найду. Но он записан еще в дневнике...— Сумбатов задумался.— А дневник и карта были уложены в кожаный мешочек. И остались у моего спутника. Тогда нас застигло наводнение, и мы потеряли друг друга. Кожаный мешочек с картой и записями так и остался у него...

— Кожаный мешочек? Так я вам принес его! — вырвалось у меня.

— Кожаный мешочек?! Стойте! Кто вы такой и почему он у вас, этот мешочек? А где этот человек? Говорите же!

— Далеко отсюда случайный встречный в пути поручил мне передать вам кожаный мешочек с картой и записями,— торопливо сказал я.— Он был очень болен. Звали его Никанор. Встретились в жестокую пургу... он...— И я замолчал.

— Погиб?

Я молча кивнул головой.

Сумбатов замер на мгновение. И вдруг бросился было вон из комнаты. С силой распахнул обе половинки массивной двери в зал — бежать от своего горя. Остановился на пороге. Замер на месте. Казалось, что блики луны, полосы света на полу, контуры овальных вверху окон, залитых тягучим лунным сиянием, преградили ему путь.

Сумбатов занят поисками Атлантиды. И вместе с тем называет ее «блаженные острова».

Здесь следует дать некоторые пояснения. Еще великий Бекон Веруламский считал, что Атлантида скрывается в джунглях Бразилии. А Клавдий Элиан, живший во II или III веке нашей эры, в своих «Пестрых историях» рассказал людям о каком-то материке, который лежит вне пределов известного древним людям мира, — о материке, где растут удивительные фруктовые деревья. Их плоды превращают старика в зрелого человека, а потом в юношу...

Уместно сказать, что в наши дни весьма серьезные ученые связывают с Атлантидой народ майя. Ю. В. Кнорозов в своем фундаментальном труде сообщает: «Будучи убежденным сторонником происхождения майя из Атлантиды, Брассер де Бурбур полагал, что в рукописях майя речь идет исключительно об Атлантиде». (Ю. В. Кнорозов. «Письменность индейцев майя». Издательство Академии наук СССР, 1963.)

Что же касается ссылок Ф. Сумбатова на «счастливые острова», то, возможно, он изучал «Атлас Медичи» 1351 года, по которому выходит, что остров под названием «Бразиль» «помещен к Западу от Кадиса» и в тех местах есть «залив Трехсот пятидесяти восьми блаженных и счастливых островов». А на карте Фра Мауро надпись гласит: «Остров Бразиль, который относится к островам Гибернии, называемым Счастливыми».

В XII веке Гонорий Аугсбургский рассказывал:

«В океане лежит остров, который называют Потерянным. Прелестью и плодородием он намного превосходит все прочие страны земли; но людям остается не-

ведомым. Случайно он появляется то здесь, то там, но, когда его хотят отыскать, это оказывается не под силу, и потому зовется тот остров «Потерянный». Говорят, что Брандан достиг этого острова. Не исключено, что потерянный остров Гонория тождествен ирландскому счастливому острову Бразилию и Огигии Плутарха».

Примечание. Эти комментарии составлены по книгам Рихарда Хеннига «Неведомые земли».

В поисках адреса Атлантиды Сумбатов, возможно, искал ответа у Платона, у Марко Поло (ведь этот путешественник рассказал, в частности, о том, как люди оставили город, который осадили змеи).

Покинутые города в джунглях Мексики видели лорд Кингсборо, Стефенс. Художник Вальдек зарисовал изображения людей, растений, высеченные на стенах.

Сумбатов, возможно, шел по следам Кингсборо и Стефенса.

НОЧЬ НА НОВИНСКОМ БУЛЬВАРЕ

Карлсбад

Дневник Веригина

Было поздно, когда я ушел от Сумбатова и долго еще бродил по пустынным улицам Москвы.

Устав от скитаний, я провел ту ночь почти без сна на Новинском бульваре. Мучительно думал о том, как много дел мне предстоит сделать завтра: получить паспорт, билет и сразу же уехать за границу, скрыться. Хорошо помню одно: сидя на скамейке в тени лип, я то отрывался от своих тревожных дум и мысленно продолжал свой разговор с этим странным и притягательным Сумбатовым, то невольно ловил слова случайных прохожих.

«Найдите же, — чудился мне глубокий голос Сумбатова, — найдите человека, который сказал бы: за свою жизнь я все исчерпал и мне пора умирать».

«Нет такого человека, — мысленно отвечаю я. — И тяжело ему, когда поймет: пора уходить из жизни, а что он оставляет на земле?..»

«Мы скажем такому самому обыкновенному человеку, — снова слышится мне голос Сумбатова: — Ты горюешь, потому что не успеешь даже учесть свои ошибки, как кончится твоя жизнь. Теперь же все будет по-другому: не годы, а

тысячелетия перед тобой. Учись исправлять свою жизнь... Достигай! Успевай!»

Мимо меня прошествовал грузный мужчина средних лет. Чуть отстав от него, плелся сутулый человек в косо-воротке.

— Главное — это кредит. Без кредита торговли не заведешь... — Голос уверенный, чуть снисходительный. — Ладно! Отпущу тебе товаров. Будет тебе и кредит.

— Век не забуду такой доброты, ваше степенство!.. — Голос смущенный, озабоченный.

Потом другие голоса, юные, приглушенные:

— До свиданья... Приходите же вечером завтра... Не дождусь, чтоб увидеться один на один...

— Да! Приду.

Все стихло.

Сквозь густые ветви лип возле моей скамейки на Новинском бульваре пробивался свет луны и рисовал свои узоры на дорожках.

Две женские фигуры возникли из узорчатой тени лип на бульваре.

— Ах, маменька, — ворвался в мои думы девичий трепетный голос, — ведь я его люблю. Ведь есть же на свете любовь.

— Ну, милая, — серьезный и властный голос, — на свете, может, и есть любовь, но есть и терпение! Вот что есть на свете! Терпение! Держи себя в руках. А то отцу расскажу! И возьмет он тебя тогда в жесткие свои руки. Узнаешь, что такое воля родительская.

— Ах, маменька!.. — Голос слезный и вдруг прервался. Ушли...

Но вот из-под скамьи, на которой я сидел, выползла гигантская змея. Во рту она держала цветок с пламенными лепестками. Я вздрогнул и... проснулся.

И тут я вспомнил древний миф.

Полубог-вавилонянин Гильгамеш, герой на вершине славы, не знает покоя с того момента, как умер его друг Энкиду. Преодолевая неисчислимые препятствия, он предстает перед мудрецом по имени Утнапиштим, которому боги даровали бессмертие. Утнапиштим не открыл Гильгамешу тайну бессмертия, но поведал, что волшебная трава молодости растет на дне моря. И вот, сорвав драгоценную траву, Гильгамеш спешит домой. В пути он увидел озеро. Вошел в воду, оставив траву на берегу. Но, пока он купался,

траву молодости похитила змея. Люди остались мертвыми.

...Все реже и реже проходили по бульвару люди. Все реже трогал ветви лип легкий ночной ветер. Постепенно все стихло. Под утро я даже задремал ненадолго.

Чуть свет я ушел с Новинского бульвара. Старался держаться подальше от дворников в белых фартуках, с бляхами на груди, подметающих тротуары. Обходил сонных постовых полицейских. Окольными путями я направился к Порошиным на Малый Кисельный переулок.

Я шел по утренней светлой Москве. Миновал Рождественку, вышел на Большой Кисельный переулок и повернул на Малый Кисельный. Вот уже и знакомый дом, где издавна живут Порошины.

Но возле ворот на скамеечке в этот ранний час какой-то старичок читал газету, почти закрыв ею лицо. В отдалении на другой скамеечке сидел парень в сапогах бутылками, со щекой, перевязанной цветным носовым платком.

Я насторожился. Что б это значило? Не зря тут засели эти двое. Нельзя мне сегодня к Порошиным.

Внешне спокойно, даже чуть медленнее я продолжал идти по переулку. Проходя мимо парня, заметил: глаза у него были маленькие и какие-то прозрачные. Отойдя шагов на десять, я круто повернулся. И тут же поймал на себе острый, злой взгляд сухонького старичка с козлиной бородкой. А из-за газеты, которую он чуть-чуть опустил, он сделал парню какой-то жест рукою.

Сердце у меня остановилось. «Выследили!» — подумал я. Мысль заработала четко и быстро.

Не ускоряя шага, я вышел на Рождественский бульвар.

Сердце билось медленно и тяжело.

Неужели меня выследили? Только бы успеть в проходной двор дома напротив Сретенского монастыря. Скорее!

— Держи! Стой! Попался! — С криком из-за кустарника неожиданно появился какой-то дюжий верзила.

Трое полицейских обступили меня.

— Он самый... беглый! — задыхаясь, проверещал старичок. — Теперь не уйдет! Крепче держи! Крамольник! Веди! Не уйдет! Веди. Веди его! Не сумлевайся! Он! Он!

И последнее, что я запомнил тогда: помертвевшее лицо старого человека, застывшего под монастырской стеной у тополя. То был Александр Сергеевич Порошин.

Ссылка. Побег. Не забыть никогда. Сколько раз здесь, в Карлсбаде, просыпаюсь ночью, как от толчка! В мозгу — как удар молота: «Погоня!» И всякий раз, когда гляжу на лес Крушных гор, вижу: тайга... двухвершинная сосна...

Но стоп! Надо записать все, что мне привелось испытать. Только не о тюрьме. И не о ссылке. На память об этом у меня на висках пробилась седина.

Начну с того, как тайга спасла меня.

— Перво-наперво добраться тебе до избушки, что возле двухвершинной сосны. Там и всякий припас тебе будет — и охотничий и рыболовный, — так наказывал мне лесник Илья Васильевич.

Дождь лил как из ведра. В двух шагах ничего не видеть. Вот и река. Сели в лодку. Поплыли. А дождь все лил.

Уже совсем стемнело, когда мы расстались.

— Прощай, — сказал лесник и протянул мне большую котомку. А в ней — нож, топорик, зажигательное стеклышко, котелок, кружка для воды, спички в трех баночках, крепко от влаги покрытых смолой, соль, большой кусок сала, мешочек черных сухарей. В карман сунул маленькую бутылочку казенного вина. — В тайге хоронись, — говорил он напоследок. — По реке тебя искать будут. В тайге, в болотах, считают, прохода нет. А ты не бойсь, по моим зарубкам иди. — Смотри иди, да не сбейся, а то пропадешь. Через два дни, как болота кончатся, реку перейдешь по залому, через увалы по тропинке к ручью выйдешь. Рыбы в нем видимо-невидимо. Особняком на обрыве стоит сосна. Большая. Приметная такая. Раскидистая. О двух головах.

— Как это?

— Так. Две верхушки у нее. А рядом с ней избенка охотничья разваленная. Под полом найдешь ружье охотничье, пару удочек, а в рундуке кое-что из припасу. А от этой избенки, что рядом с сосной, часа два ходу вдоль ручья до баньки лесной. Встретит тебя надежный человек. С виду хмурый такой, борода по пояс. Скажешь, кланяется, мол, Илья Васильевич Степану Тимофеевичу. Он тебе пособит. До своих дозовешься через него. Ну, прощай!

— Век не забуду тебя, Илья Васильевич!

— Ладно.

И лесник, оставив меня в лесу, оттолкнулся от берега и медленно, не оглядываясь, повел лодку вверх по реке.

Я остался один.

Стемнело. Меня знобило. Всю ночь я дрожал в мокрой одежде. Костра не зажигал — боялся погони.

С рассветом стал уходить через болота.

Я строго следовал указаниям Ильи Васильевича: пробирался по зарубкам через болота; отыскивал ту еле приметную тропинку, которая повела меня вдоль шумного ручья. Где-то там, впереди, на высоком обрыве уже ждала меня какая-то сосна «о двух головах».

Превозмогая себя, я уходил все дальше. Страх перед погоней гнал меня.

Но все же один недруг неотступно шел и шел за мной. Болезнь.

Как-то ночью я проснулся весь в огне. Хотел подняться, но смог только еле шевельнуть рукой. Попробовал вздохнуть поглубже, но грудь и бока словно были наполнены горячей колючей тяжелой ватой. Дышать можно было только ртом, чуть-чуть, очень часто и коротко. От этого во рту мгновенно пересыхало. Пить... Пить...

Воспаление легких?!

В жару, в полубредовом состоянии я делал отчаянные усилия, чтоб не потерять сознание. С трудом передвигался по тайге, убеждая себя вслух:

— Не сбиться. Река — слева по ходу. Вон там. Солнце — на востоке. Так. Река — слева. Где-то впереди, за поворотом ручья, — на высоком обрыве сосна. А рядом с ней — охотничья избушка. У сосны должны быть две вершины. Эта? Нет... Просто в глазах двоится. От болезни. Ничего. Все ничего. Только не сбиться. Ручей рядом. Поворот. И вот виднеется сосна. Двухвершинная? Да-да. Та самая. И рядом — избушка. Теперь взобраться на обрыв. Еще немного. Как-нибудь десять шагов... девять... восемь... семь... пять... Уж близко. Дошел!

Из последних сил я взобрался наверх. Свалился под двухвершинной сосной. Потерял сознание. На миг пришел в себя. И впал в тяжелое забытие.

Часть четвертая

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

РАЗГОВОР О ПОХОДКАХ

Из портфеля Милана Капки

Люцерн. 1 августа 1863 года

Дневник Веригина

Долго же я спал. Где я?

И я хотел было привстать, но не мог. Чьи-то руки повернули меня, поправили подушку, одеяло.

— Тише... тише... вам нужен покой.

Я повиновался. Кто-то приподнял мою голову и дал мне пить, приговаривая:

— Спокойно... спокойно... спите! Сейчас ночь.

На меня пахло запахом лаванды.

Вот все, что мне запомнилось из моей тяжелой болезни в Люцерне.

...Я поправляюсь. Но еще очень слаб. С трудом держу в руке карандаш.

Итак, я потерял сознание в тайге. Добрые люди подобрали меня. Переправили к Наташиным друзьям. Как им удалось перевезти меня через границу в Швейцарию, до сих пор не понимаю.

Рассказывали, что меня выдавали за тяжелобольного генерала, срочно нуждавшегося в особом лечении. Отдельное купе. Сопровождающие: врач и сестра.

А я бредил. Тайга... Сосна двухвершинная... Погоня... Сопровождающие кашляли, спорили, чтобы заглушить странные слова. Было много волнений. Но все кончилось благополучно. Генеральский чин помог. Я в Люцерне.

Люцерн. 15 августа.

Дневник Веригина

Собираюсь в Карлсбад.

Сегодня весь день приходили товарищи. Прощались.

Принесли деньги. Помогли уложить вещи.

Какая бурная ночь за окном! И дождь. И ветер. Зеркальное, всегда такое спокойное озеро, домики под черепичными

крышами, часовенка у моста, что перекинут через ручей, впадающий в озеро, — все потонуло в крутящейся дождливой темноте.

Только что от меня ушел Симон Бургонь, старик часовщик, у которого я живу. Какой занятый человек! Он был дружен с Теодором Амадеем Гофманом, автором «Щелкунчика» и других удивительных сказок. Всю жизнь его страстью были часы. И в соседней комнате у него целое собрание часов. Самых разных: есть и огромные ивовые часы, которые крепко стоят на полу, а циферблат влит в ивовый венок; есть у него и веселые часы: каждый час из них с радостным жужжанием вылетает пчелка и возвращается назад, есть и грустные часы, где старик мельник под печальную мелодию все льет и льет воду на колеса мельницы.

Одним словом, много разных забавных часов у часовщика Симона Бургоня.

И недавно, когда он, постучав, открыл дверь в мою комнату, вместе с ним вошли разные голоса часов.

Старик цеременно поклонился.

— Рад вас видеть, мосье Бургонь. Садитесь.

Старик остро и внимательно глянул на меня.

— Мосье Веригин! Что вы скажете о походе человека? — неожиданно спросил он.

— О походе человека? — с недоумением спросил я.

Бургонь загадочно на меня посмотрел и с воодушевлением прошептал:

— О, мосье! Я старый человек, и, чуть посмотрю на часы и вслушаюсь в ход часов, их походку, я сразу узнаю их прошлое, настоящее и будущее. Чем болели и как идет их жизнь.

— Часы — это часы, мосье Симон. Но вы спросили меня о походе человека, не так ли?

— Да, да, именно. — Старик таинственно улыбнулся.

— Припоминаю, — сказал я. — Еще давно, когда я начинал занятия в университете, я тоже думал о походах людей. Я говорил себе: болезнь, скрытую в груди человека, обнаруживают при помощи выстукивания грудной клетки. Этот способ был известен несколько тысяч лет назад врачам Древнего Египта и Греции. Далее медики о нем накрепко забыли. И лишь в восемнадцатом веке (1761 год) его вновь открыл врач из Вены Леопольд Ауэнбруггер. А после него еще и другие врачи много писали, учили, как

при помощи перкуссии исследовать состояние больного. Тут было и такое открытие: когда выслушиваешь сердце, надо, чтоб больной не только стоял, но и лежал, а при этом следует класть человека не только на спину, но и на левый бок: так лучше поймешь состояние больного. И я сказал себе тогда: стоять, лежать — все это правильно, но человек еще и движется, ходит. И надо понять, что означают движения его рук, как ступает он ногами по земле, что выражает его спина, когда он идет. Походка — разве не говорит она о том, как человек чувствует себя?

— О! Вы тысячу раз правы. Но это еще не все. Характер, суть живых существ — вот что, отражает походка, — подхватил старик. — Мы говорим: красоту лошади можно понять, если увидеть ее в беге. Да! Лошадь познается в беге. А птицы? Мы знаем, как удивителен, своеобразен и неповторим полет птиц разных пород и то, как они ходят по земле.

Я прервал на мгновение чтение дневника. Разговор Веригина и Бургоня о походках вызвал в моей памяти один случай в зоопарке.

Это был обыкновенный зоопарк с березками по обочинам тропинки. Шумная толпа с шутками, возгласами удивления и сожаления, с насмешками и резким смехом двигалась, рассматривая клетки со зверями за решетками («Смотри! Глянь... вот... вот»). И толпа эта вдруг приостановилась, смолкла, раступилась. На дорожке зоопарка, пыльной, засыпанной конфетными бумажками, показался житель великих, уходящих в небо Анд — показался кондор!

Давно уж люди подрезали орлу крылья. И никогда никуда уж он не улетит. Но птица шла по земле так, словно все еще видит свою тень, скользящую по вершинам Анд, над которыми она пролетает. Будто все еще слышит, как услужливо отвечает горное эхо на орлиный ее крик.

У кондора были подрезаны крылья. Он был в неволе. Но шел он по тропинке прямо, сильно, гордо. Ни на кого не глядя, никому не уступая дорогу. Шел так, словно он — в полете и преодолевает напор сумасшедшего ветра в горах. И чуть я увидел его, как быстро, вместе с другими, потеснился, сошел на обочину тропинки, прижался к березке.

Птица прошла мимо дерева, за которым я стоял и глядел на нее. Вот... она была рядом со мной. Протянуть руки — тронуть осторожно подрезанное крыло? Нет! Ведь я уже не вижу птицы, которая идет медленно по пыльной дорожке, засыпанной бумажками от мороженого и конфет. Нет, я вижу, как простерлась мощная орлиная тень ее над вершинами Анд.

Очень старый, усталый, с потускневшими глазами, уж давно плененный, с подрезанными крыльями, кондор шел по пыльной тропинке зоопарка...

Но нет человека, который, увидев, как птица идет по земле, не понял бы, как летит эта птица над землей. Ведь полет — это тоже походка. Только не по земле, а по воздуху.

ЧАСЫ И ЗАПАХИ

Дневник Веригина

— Но почему вы так упорно говорите со мной о походках? — удивился я.

— Тс-с-с... одну минуту, — сказал старик, широко раскрыл глаза и поднял вверх указательный палец. Прислушался к шуму ветра.

По-прежнему все кругом стонало, грохотало, выло. Симон Бургонь все прислушивался. Медленно качнул пальцем. Миг один — и откуда-то сверху раздались, потекли тяжелые, долгие удары. Смешно даже думать, чтоб кто-либо слышал, как бьют часы на башне в такую мутную ночь. Но все же в ту самую минуту, когда часы на башне стали отбивать свой счет, в эту же минуту в домике старого часовщика, который стоял в переулке — далеко и от озера, и от городской башни, — в ответ на удары башенных часов зазвонили на свои голоса часы.

Голоса часов — и в домике Симона Бургоня, и на городской башне — звучали и умолкли почти одновременно.

По губам старика проскользнула странная улыбка:

— Я доволен исполнением. Оркестр работал дружно. Я всегда наблюдаю походку часов. Ах! О чем я мечтаю... Создадут ли когда-нибудь люди такие часы, которые будут настроены на запахи? Пусть люди сговорятся: определенному времени суток будет отвечать определенный запах.



Конструкция таких часов будет совсем особая: нажал кнопку — и разнесся запах ландыша. Значит — семь часов утра. Запах розы укажет на полдень, а если запахло ночною фиалкой — значит, полночь. Ведь на каждый час суток можно подобрать свой запах. Их, этих запахов, так много, в разное время суток.

Бургонь умолк и откинулся на спинку кресла.

Слова Бургоня о настройке часов на запахи заставили меня достать из моей библиотеки «Музыкальные новеллы» Э. Т. А. Гофмана. И на странице 67-й прочел: «...я нахожу известное соответствие между цветами, звуками и запахами... Особенно странную, волшебную силу имеет надо мной запах темно-красной гвоздики, я непроизвольно впадаю в мечтательное состояние и слышу словно издалека набегающие и снова удаляющиеся звуки бассет-горна».

ЧЕЛОВЕК С РЫСЬЕЙ ПОХОДКОЙ

Я тихонько тронул Бургоня за руку:

— Мосье Симон! Простите, но вы спрашивали меня о походке человека. Че-ло-ве-ка. А не часов.

На лицо старика набежала тень. Он тревожно качнул головой. Придвинулся ко мне.

— Вы были очень больны, мосье. Гнилая горячка. Сюда приходили ваши друзья. Кормили вас, лечили. Тревожились за вашу жизнь. Вечером все уходили. Я оставался с вами. До утра. Но когда вам было особенно трудно (вы ночами были в беспамятстве), стал приходиться один человек.

— Ночью? Кто же?

— Такой высокий, красивый, седой. И голос у него ровный, тихий. Глаза светлые, смотрят в упор.

— А-а-а... Припоминаю. Святошин! Мне еще в Женеве говорили о помещике Святошине. Будто бы в нем заговорила совесть и он хочет весь свой капитал передать Герцену на революцию.

— Он вам знаком, этот Святошин? Тогда другое дело, — недоверчиво продолжал Бургонь. — Но со мной этот ночной гость был крайне молчалив. Отсылал меня спать. А сам садился за стол подле вас. Вынимал бумагу и писал, писал. Всю ночь напролет. Даст вам лекарство и опять все пишет. У меня сон очень чуткий, мосье. Сквозь дрему мне слышалось... простите, может быть, мне это только казалось, но я явственно слышал, как почему-то тихонько скрипели ремни и осторожно щелкали застёжки на вашем чемодане, шуршали бумаги, и снова тишина. Шорох пера, которое все бежит и бежит по бумаге. Этот ваш «ночной» друг совсем другой, он не такой, как ваши «дневные» друзья. Его походка...

— Какая же у него походка?

— Бесшумная. Он не касается пола каблуком. Мягко вытягивает носок и бережно опускает его на землю, словно боится оставить полный след. У него какая-то лисья... нет, рысья походка. Понимаете? Походка рыси.

— Рысья? Вы говорите: рысья походка?

— Именно. И мой сенбернар Пасс всегда недоволен, ворчит, когда этот человек переступает порог моего дома. — Старик вдруг встал со стула. — Я слишком много говорю с вами, мосье. Ведь вы не успели еще окрепнуть после болезни. Я удаляюсь. Спокойной ночи!

И старик снова церемонно поклонился. Ах, как хорош бы он был в затканном золотом камзоле, при шпаге и в треуголке с пером! Совсем кавалер Глюк, как его описал Гофман.

ФАРФОРОВАЯ МИНИАТЮРА

Вот и окончена первая папка.

Я не заметил, что небо посветлело. В окно подул предрассветный, бодрящий ветерок. Я встал и прошелся по комнате.

Как неожиданно и прочно вошел в мою жизнь Веригин, этот безвестный искатель!

Деревья за окном вдруг зашумели, залепетали, потревоженные порывом ветра. Опять затихли.

Скорее за стол. Что еще готовит мне следующая папка?

Что это? Какой-то конверт без надписи. Внутри — голубые листки почтовой бумаги. Почерк не Веригина. Явно женский, мягкий, аккуратный.

«Дмитрий, друг мой бесценный!»

Наконец-то представился случай, чтобы переслать тебе письмо с верным человеком.

Можешь ли ты понять, как я и мои друзья бесконечно благодарны тебе за твой самоотверженный поступок! Я плакала и гордилась тобой, когда слушала, как ты на суде обвинял себя в том, чего не совершал.

Я думала, что разлучаюсь с тобой на долгие годы, а может быть, навсегда, — вот откуда мои слезы. Позднее я узнала, что друзья поклялись помочь твоему бегству за границу.

Как я была счастлива, когда мне сообщили, что все удалось!

Эту фарфоровую миниатюру я заказала для тебя, чтобы ты не забыл меня, мой друг! Не правда ли, похожа?

Когда же мы свидимся с тобой? Разве что сумеешь продлить наши жизни на тысячу лет, о чем ты мечтаешь. Прости меня, Дмитрий, но эта твоя мысль меня пугает.

Людей станет так много — новые родятся, а старые не будут умирать.

Как же они будут жить? Где найдут работу? Как прокормят себя и семью?

Ведь начнут убивать друг друга. А знатные и богатые будут истреблять ненужных им лишних бедняков. Ведь у них армия, полиция. В жизни каждой семьи могут возникнуть трагедии. Нетерпеливые наследники, например. Голодные дети. Надоевшие жены. Невыносимые мужья.

Прости меня, Дмитрий, я так боюсь, что при твоей одаренности и настойчивости, ты добьешься этого тысячелетия.

Может быть, я не права, может быть, ты сумеешь объяснить мне, доказать, как это будет?

Ах, Дмитрий, а пока годы летят, а ты так далеко!

Не забывай меня.

Твоя Наташа.

Р. С. Как ты просил, мы навели справки о твоём знакомом Сумбатове. Печальные вести, друг мой. После твоего ареста у него был обыск, и все его записки и рисунки увезли. Черепки же потоптали и выбросили за окно в бурьян.

Так рассказал нам слуга Сумбатова Петр.

Он же и похоронил своего барина, который не вынес гибели всех своих научных работ и открытий.

Ты знаешь, Дмитрий, этот Сумбатов, как видно, был отличный человек. Он дал вольную не только Петру, но и всем своим дворовым. А поместье со всеми постройками и крестьянами продали еще родители. Дом же, что на Плющихе, пошел с молотка.

Как жаль, что мы его не знали!

Н.»..

Так вот каков Веригин! Ценой своей свободы спасал людей от царской расправы. Ни суд, ни ссылка, ни разлука с родиной и любимой девушкой не испугали и не остановили его. Ах, Веригин, Веригин, куда же ты пропал? Найду ли я твои следы, твои пути? Твой конец?

А где же миниатюра? Где портрет Наташи? Я лихорадочно роюсь в портфеле. Нет миниатюры. Может быть, Веригин взял ее с собой? Как жаль! Мне так хотелось увидеть ее лицо!

Еще листок, но почерк уже Веригина. Как много поправок, зачеркнутых слов... Это какой-то черновик, по-видимому.

«Душа моя Наташа,

безмерно обрадовала меня весточка от тебя! Чудесный подарок — фарфоровый твой портрет.

Гляжу не нагляжусь.

Теперь поговорим о другом.

Очень меня огорчает твое отношение к моей мечте, которую надеюсь скоро осуществить.

Да, да, душа моя, больше чем надеюсь — уверен. Но ты права в одном: при теперешнем положении человечества всеобщее долголетие привело бы к страшному самоистреблению.

Но, милая моя Наташа, ведь ты-то хорошо знаешь, народы пробуждаются. Лучшие люди отдают свои силы, свой ум, свою жизнь за светлое будущее человечества. И оно придет. И я хочу из страшного, несчастного мира, в котором мы живем, послать им, тем людям будущего, мой подарок — тысячу лет счастья.

Когда народы будут свободны и сольются в одну человеческую семью, разве не хватит места, работы, пищи для всех?

Я передам мое открытие вам, борцам за это будущее.

Вы сумеете сохранить и донести до свободного человечества то, что ему необходимо: долгие годы для накопления знаний, для творчества и счастья.

Верь мне, Наташа, я добьюсь этого, обязательно добьюсь, и скоро.

Твой Дмитрий».

Комната уже вся залита светом. Я выключаю настольную лампу. Птицы встретили солнце целым оркестром. Теперь они заняты своими хлопотами. Порхают, перекликаются.

Ветер затих. Так тепло, светло, хочется петь, смеяться. Но я устал... устал. Спать... спать... спать... До завтра.

Но ведь уже «завтра».

Ах, все равно. Как хорошо!

*Карлсбад. 20 августа**Дневник Веригина*

Вот уже несколько дней, как я живу в добром старом Карлсбаде, в пансионе «Черный лебедь». Из Праги сюда я ехал в дилижансе. Он тихо и непрерывно поскрипывал в лад песенке, которую напевал возница на своих высоких козлах. Совсем как у Диккенса с его веселыми, добрыми возницами и чудаками-пассажирами. А ведь когда-то по той же дороге, направляясь в этот город, ехали и смотрели на эти мягкие очертания гор и Гоголь, и Паганини, и Миллер, и Гёте, и Бетховен, и Шопен.

Из окна пансиона вижу, как под большой полной луной чернеет громада леса. Она спускается с Крушных гор.

Вчера весь день я был в лесу. Там застала меня ночь. Светила луна.

*Карлсбад. 24 августа.**Дневник Веригина*

Вчера вечером со мной приключилась странная история. Я медленно поднимался в гору к пансиону «Черный лебедь». Неожиданно из-за одного дома появился какой-то высокий человек в черном длинном сюртуке, в котелке и с тросточкой в руке. Он, видно, шел от источника. Я разглядел его спину.

Походка этого человека и удивила и поразила меня. Я невольно пошел за ним. Вспомнил разговор со старым часовщиком Симоном Бургонем о походках людей. А этот незнакомец шагал так осторожно, словно сомневался, не растопчут ли что-либо его ноги. Вот он остановился, — видно, какая-то неожиданная мысль или воспоминание обожгли его сердце. Нерешительно сделал шаг... другой...

И вдруг походка человека резко изменилась. Словно в нем развернулась какая-то пружина. Шаг его стал твердым и стремительным. Он внезапно оглянулся — видно, почувствовал мой взгляд — и быстро исчез за поворотом. Я остановился в раздумье. Кто это? Может быть, он болен и ему трудно? Уж не должен ли я был подойти к нему? Помочь? Но чем? И с этой мыслью я направился к пансиону.

Я был уже у лестницы пансиона, когда оглянулся. Из переулка неожиданно появилась темная фигура и стала медленно приближаться.



Он! Это был он, человек в черном сюртуке, тот незнакомец, чья походка вызвала во мне ряд догадок и размышлений. Я остановился в тени колонны и стал присматриваться. Действительно, всеми его движениями управляет какая-то внутренняя пружина: то толкает, то отпускает его. Конечно же, какое-то глубокое душевное беспокойство владеет им. Походка его противоречива и мучительна.

Он прошел мимо меня, совсем рядом, но даже не посмотрел в мою сторону. Поднялся по ступенькам пансиона. Легко постучал молотком в дверь «Черного лебедя». Так, значит, он живет в одном пансионе со мной?!

Служитель в бакенбардах, седой, старый швейцар Юлиус Капка, открыл дверь, запахнул свой поношенный сюртук и, высоко держа свечу, поклонился. За незнакомцем незаметно вошел и я. Вот и третий этаж. Там моя комната. Незнакомец поднимается на этот же этаж, идет по коридору. Шаги его отдаются глухо и одиноко. Своих шагов я не слышу. Я почему-то очень беспокоюсь. Неожиданно человек спохватился, что разбудит людей, — пошел на цыпочках. Но почему он задерживается у двери моей комнаты? Достает ключ!

Старушка служанка Мари появляется со свечой совсем неожиданно.

Она качает головой и что-то ему говорит по-французски. Я не все расслышал. Но до меня долетели слова: «...Вы ошиблись... ваш номер не здесь... вон там...» Незнакомец кивает головой и проходит дальше.

Кончаю запись. Скоро утро.

Тревожно. Но почему? Ведь ничего не случилось. Ничего.

МОЛЧАНИЕ ПЬЕРА ДЕ ДАВЕНА

28 августа

Дневник Веригина

Было утро. Час завтрака в пансионе «Черный лебедь». Больные уже побывали у источников и теперь сидели за столиками в столовой. Им подавали завтрак. Завтракал и я.

Мелкой, семенящей походкой в столовую вошел хозяин пансиона.

— Сюда! Сюда, пожалуйста! — воскликнул хозяин и, обернувшись к дверям, сделал широкий приглашающий жест.

Дверь раскрылась, и на пороге столовой появился... он! Он, человек в черном сюртуке.

— Сюда, господин полковник! За этот столик, мосье де Давен.— И хозяин, повторив свой приглашающий жест, указал на стул возле моего столика.

Мы раскланялись. Завтракали молча. В коридоре хозяин пансиона остановил меня:

— Мосье! Если бы вы знали! Какая честь! У меня в «Черном лебеде» остановился сам Анри де Давен. Полковник колониальных войск Франции Анри де Давен. Ныне он в отставке. Но совсем недавно им гордилась его родина. О полковнике де Давене писали в газетах... Образец замечательного воина. Пример для молодежи... Но из всех отелей Карлсбада он выбрал мой пансион. Я счастлив... И крупицу этого счастья я подарил вам, господин Веригин, пригласив этого храбрейшего галла за ваш столик.

5 сентября

Дневник Веригина

Вот уже неделя, как полковник де Давен три раза в день подходит к столику, за которым я сижу. Кивок головой. Ответный кивок. И ни слова. Он тихо садится за стол. Ему подают очередное блюдо. Тихое «мерси». Кончает свой обед. Поднимается и придвигает к столу свой стул. Молча кланяется мне. Удаляется. Походка все та же — противоречивая, мучительная.

И так вот — уже целая неделя. На один и тот же лад. Что же случилось с этим человеком?

Карлсбад. 7 сентября.

Сегодня утром старушка Мари, убирая мою комнату, сообщила:

— Ваш сосед полковник уже расплатился по счетам с хозяином. Он заказал место в дилижансе. Через три дня уезжает. Вот и хорошо! Уж сорок лет служу у разных господ. Таких не видела: не засмеется, ни слова не проронит. Все молчит. У него, видно, лежит на душе какая-то тайна.— И старушка горничная Мари приложила палец к губам.— Убираю его комнату и вижу — на столе письма из суда. А на газетах, что лежат на стульях, красным карап-

дашом обведены слова про тюрьмы и про каторжников. О! Как страшно! Хорошо, что этот полковник уезжает. Плохо у него на душе. Очень плохо...

И сердобольная старушка смахнула кончиком беленького фартука слезинку с уголка глаза.

Да! Видно, не на меня одного угнетающе действует молчание Анри де Давена.

9 сентября

Дневник Веригина

Лед молчания неожиданно сломался. Вот как это произошло.

Итак, полковник колониальных войск де Давен завтра уезжает. С ним уезжает и его молчание. Сегодня за обедом он оторвал свой взгляд от тарелки и особенно долго задумчиво смотрел на деревья. Прощался с ними? Сделав рукой резкое движение, словно отстранив что-то, француз неожиданно посмотрел на меня в упор. И тут я не сдержал себя.

— Мосье де Давен, вы хотите мне что-то сказать?

— Non, monsieur (Нет, мосье).

— Простите, мосье, но...

— Пожалуйста...

— Вы знаете, мосье, что нет на свете одинаковых молчаний. И никогда нигде одна тишина не похожа на другую.

Я сказал эти слова и сразу почувствовал: какое-то беспокойство повисло в воздухе. И почему-то полковник де Давен сразу привстал и сказал:

— Да! Я был непереносимо молчалив все это время. Но ничего не поделаешь. Я — это я. Простите, мосье... Да! Я согласен: одинаковых молчаний нет на свете. И у человека нет даже названий для всех молчаний, как нет названий для всех запахов.

— А знаете ли вы, мосье, как я называю ваше молчание?

— Пожалуйста, говорите. Надеюсь, ваше слово станет хорошей приправой к очередному блюду нашего обеда, — с вымученной улыбкой сказал полковник.

— Ваше молчание, мосье, напоминает мне молчаливое ожидание катастрофы, грозы, бури в тайге.

— Тайга? Это, кажется, лес, бесконечный лес в вашей Сибири? Так?

— Совершенно верно.
— Ожидание... Но нельзя ли ясней? Кто же ждет бури в тайге?

— Деревья, мосье. Деревья, которых удушают лианы, ждут грозы.

— Лианы... Мое молчание... Я решительно не понимаю вас, мосье Веригин.

— Извольте! Я видел в тайге, как лианы — сибирские лианы — взбираясь все выше и выше по деревьям, прижимаются к ним все крепче и крепче. Молчаливые, смертельные, удушающие объятия, мосье. Лианы, эти живые канаты со светло-коричневой корой и с сизым налетом, впиваясь своими присосками в стволы деревьев, тянут из них живительные соки. Молчит тайга. Молчат деревья. Их гибель непредотвратима. Но всякий раз, когда я смотрел на эту тишину, мне казалось: деревья чего-то ждут.

— Чего же? — глухо спросил де Давен.

— Грозы. Бури. Ветра. Зашатается тайга, качнутся деревья, все вокруг придет в движение. Деревья оторвутся от гибельных лиан...

— Напрасные иллюзии, — с легкой горечью прервал меня мой собеседник, — гроза с ветром приходит и уходит, а лианы остаются. Не так ли, мосье?

— И опять деревья начинают ждать! — воскликнул я. Де Давен покачал головой:

— Не напрасно ли?

Но, не отвечая де Давену на вопрос, я сказал:

— Мосье, я врач, и я уже кое-что испытал в жизни. И, видя, слыша, чувствуя ваше молчание, я всякий раз спрашивал себя: не могу ли я стать тем ветром, который оторвет от вас лиану молчания, удушающую вас?

Де Давен ответил не сразу.

— Спасибо за участие, мосье... Не огорчайтесь! — сказал он наконец. Голос его звучал глухо, тихо, но уверенно. — Мне уж нечего ждать... Пусть деревья, погибая, верят и ждут спасения, а я...

Де Давен резко взмахнул рукой, поднялся с места, сделал шаг, остановился и прибавил:

— Спасибо, мосье, за рассказ о лианах. Что касается меня, то... никакой ветер мне не поможет. Но ваш рассказ о лианах извлек из моей памяти рисунок лося...

— Лося, мосье?

— Лося на льду вашей замерзшей Волги...

— Вы были в России?

— Завтра до отъезда я отдам вам лося взамен ваших лян. И вы кое-что поймете в моем молчании. Но не собирайтесь меня спасать. Просто на рассказ отвечу рассказом... И уеду. До свидания, мосье. До завтра.

И он ушел. Возможно, он чувствовал, что я гляжу ему вслед. И походка его на этот раз была твердая, уверенная, непоколебимая.

Я остался в раздумье. Как сочетать: французский полковник колониальных войск в отставке — и Волга? И при чем здесь какой-то лось на льду замерзшей реки?

НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ!

Карлсбад. 9 сентября

Дневник Веригина

Я сидел у окна своей комнаты в пансионе «Черный лебедь» и опять (в который раз!) ставил опыты над простейшими, делал записи.

Откуда-то издалека, слева, из долины с целебными источниками, звучал духовой оркестр. Играли полонез Огинского. Я откинулся на спинку стула. Под колбой мерно струилось голубое пламя спиртовой горелки. Я устало смотрел на язычок огня.

И мне послышался глуховатый голос Сумбатова:

«Не верю я в провидение! И не бог создал жизнь... Но миллиарды миллиардов случайностей миллиарды лет назад в каком-то неведомом для нас сочетании положили начало бесконечной жизни на планете. Хотите бессмертия для человека? Сделайте одолжение! Попробуйте! Сколько миллиардов опытов надо сделать, чтоб отгадать тайну жизни?»

Я не мог больше сосредоточиться на работе. Нехотя закрыл свою тетрадь. Музыка все звучала. И вдруг воспоминания нахлынули на меня. Воспоминания... образы... Они появлялись, вырисовывались передо мной, сменяли друг друга, медлили, неожиданно таяли, пропадали, исчезали и вновь возникали.

Оркестр замолк ненадолго.

Но вот я услышал, как Огинский в своем полонезе прощается с Польшей.

И неожиданно вспомнились мне родные места.

Было так, словно в тумане я плыл на пароме, который

переправляется через реку. Явственно ощущал запах реки, запах мокрого каната — его крепко схватили руки старого паромщика. Я даже хорошо различал запахи осенних побуревших лугов. Паром движется, движется... Слышу чей-то крик с другого берега: «Поддай па-ром!» Но где этот другой берег? И когда паром к нему пристанет и я сойду на этот берег, неизвестно. Туман...

И еще вспомнился мне жаворонок. Он подвнялся над черной пахотой, раскрывшейся под весенним солнцем. И песня его сливается с трепетом его крылышек и с майским теплым ветром. И по-весеннему переливается и сверкает утренняя роса на веселой зеленой траве.

Но здесь не песнь жаворонка, нет. Какое трагическое нетерпение сердца слышится в полонезе Огинского, который исполняют там, внизу, у источников!

Полонез смолк, но зато во мне он звучал все сильнее и настойчивей.

Я почувствовал: не могу оставаться в номере один на один с моим беспокойством. Я захотел к людям — туда, к фонтанам, где играет оркестр и люди пьют целебную воду.

Спустился. Все вокруг было спокойно.

Я остановился у оград палисадных: смотрел, как не шумно, а скромно, сдержанно чешские дети ведут в этом городе свои игры, как спокойно бабушки появляются в дверях домиков и негромко зовут детей пить чай. Мирно зажигались в домах огоньки.

Оркестр внизу у фонтанов теперь играл что-то очень тихое, долгое, милое, мирное и спокойное...

Заходило солнце. В его лучах поблескивали, переливались огоньками, темнели, гасли брызги, струи вечного фонтана. И, поиграв на солнце, падали. А новые струи снова взлетали. Этот блеск и звон струй фонтана, его всплески меня остановили. Прислонясь к ограде мостика через речку Тепла, в полудремотном состоянии глядел я, как по набережной мимо меня шли и шли люди к целебным источникам, держа в руках кружки.

Гуляли бабушки, толкая колясочки с младенцами. Где-то совсем рядом послышался вопрошающий голос влюбленного юноши и ответный смех девушки.

Вились и рвались высоко вверх струи источника — горячего гейзера Шпруделя. Какая-то обязательная и непрерывная сила непрерывно работала где-то глубоко в земле. Обязательность. Навсегда!

Я глядел на эту неперменность работы воды. На душе стало светло. Я подумал: ведь и в человеке находится двигатель, который приводит в удивительное движение весь его многообразный организм, его ум, чувства.

Если этот двигатель остановится, жизнь угаснет. И моя цель — попытаться заставить неустанно работать этот неизвестный мне механизм.

Ни минуты простоя! Время не ждет. Работать... искать!

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА

Карлсбад. 10 сентября

Дневник Веригина

Сегодня де Давен вышел в столовую в дорожном платье. Обед прошел в молчании. Я уже собрался уходить, но легким движением руки де Давен остановил меня:

— Пройдемте в сад. Я обещал вам рассказ о лосе на Волге.

Рассказ де Давена

— Однажды в Париже, в доме великого Делакруа, я встретил русского художника, — так начал свой рассказ де Давен. — Он много поведал нам о России. Делакруа только что написал свою чудо-картину «Охота на львов» и расспрашивал русского художника о зимней охоте на волков в России.

Была уж поздняя ночь, когда русский художник и я простились с Делакруа и не спеша пошли по туманному осеннему Парижу. Шли молча. Каждый думал о своем.

У одинокого тусклого фонаря, прощаясь с русским художником, я сказал:

«Вы так увлекательно рассказывали об охоте в полях и лесах России! Видно, ружье и кисть крепко сжились в вашей натуре».

Но он ответил:

«Ненавижу! Ненавижу охоту. Я расстался навсегда с этой страстью в тот зимний час... Впрочем, если угодно, я расскажу вам, как все получилось».

И тут же, под фонарем, слегка качавшемся на ветру, он рассказал мне вот что,

«В России над рекой Волгой есть возвышенность. Русские называют ее — Жигулевские горы. Она покрыта густыми непроходимыми лесами. Все эти места принадлежат какому-то графу.

Я поехал к одному из лесников, который жил на Жигулях.

Стояла зима. Но снег был еще неглубоким. Проехав на санках верст сто, я заночевал у лесника. Ночью сквозь сон слышал вой волков. Радовался: не зря заехал в такую даль. Охота на волков обещала быть удачной.

Наступил рассвет. Мы шли вдоль берега Волги — через редкий зимний лес.

Неожиданно я увидел: вдали на льду что-то чернеет. Лед на Волге был надежный, крепкий. Легкий ветер нес по нему снежок. Спустились к реке. На сине-зеленом льду лежал огромный темно-бурый лось. Он вытянул по льду свои неожиданно длинные ноги с удивительно узкими копытами. Спокойно положил на отлогий берег свою массивную, длинную, горбатую голову. Большим открытым глазом смотрел он на очень синее зимнее небо. На круглое, золотистое, чуть-чуть мглистое утреннее зимнее солнце, которое стояло в небе.

Но глаз лося был неподвижен.

Был он мертв, этот огромный бурый лось. Его большое открытое ухо торчало настороженно. Будто лось к чему-то чутко прислушивался. Летел, крутился по сине-зеленому льду ярко-белый, сверкающий огоньками снежок. Легкий ветер, взлетая на лося, бросал на бурую шерсть россыпь снежинок и мчался дальше. Снежинки живо и весело поблескивали на темно-бурой шерсти неподвижного зверя.

Я опустил на лед. Стал всматриваться в лося. Ни одной ранки, ни одной царапинки не было на нем. Я ходил вокруг лося, но двигался осторожно, боязливо: казалось, миг один — и животное рванется, прыгнет, собьет меня, победит.

С недоумением посмотрел я на лесника — что за загадка?

«Волки!» — тихо сказал лесник, словно боясь разбудить лося. «Но они его не тронули!» — «Не тронули. А мертв». — «Так почему же?» — «Воздуху не хватило». — «Как так?» — «Воздуху не хватило», — повторил угрюмо лесник, круто повернулся и пошел.

Я последовал за ним.

И вот что я узнал в тот вечер.

Зимой голодные волки делают облавы на лосей. Об этом они «сговариваются». Волки знают, что снег еще не прикрыл замерзшую Волгу. Лед на ней обнаженный, скользкий. У волков на лапах упругие подушечки, они по льду бегают легко. А лоси на своих копытах скользят и падают.

И в полночь, чуть луна поднимается над лесом, где-то тоскливо и одиноко начинает завывать волк. Откуда-то издалека ему отвечает другой. За ним откликается третий... четвертый... Ночной лес тонет в волчьем вое. Лоси слышат волчий вой и прижимаются к деревьям: в лесу лось станет спиной к дереву и будет бить волков рогами и передними ногами. Но волки воют уж в разных концах леса. Вой сближается... Волки сходятся. Кольцо вокруг лосей сужается. Одну лишь дорогу волки оставляют открытой — к берегу, к Волге, на лед. И тут страх, смертельный страх гонит лосей к реке. А на реке лосей подстерегают другие волки. Податься лосям некуда. И начинается... Раз — как по команде, волки кидаются на лесных великанов, по два на одного: этот хватает лося за горло, а тот прыгает ему на спину.

Случается, какой-то лось чудом вырывается из этого волчьего ада. Бежит во весь дух, скользит, падает, подымается. Пытается прорваться к берегу, к лесу. Прорвался! Но несколько волков мчатся наперерез, теснят лося, гонят его к реке. И лось — что делать? — мчится по льду. И слышит: догоняют. Он уже чувствует, как жарко дышат волки. И страх подстегивает его: беги что есть сил! Волки давно отстали, вернулись к своей стае, а лось не смеет оглянуться на волков и бежит, бежит по льду. Упал. И не поднялся больше: сердце разорвалось.

«Воздуху не хватило», — припомнил я слова лесника. ...Я подарил свое ружье леснику и попросил заложить санки. Уехал. И с тех пор ни разу в жизни не взял в руки ружья...

Наступило небольшое молчание. Де Давен задумался, словно забыл о моем присутствии.

— Так вот, — неожиданно начал он, — знаете ли вы, мосье Веригин, кто я? Я лось. Тот одинокий лось, которого затравили волки. Отсюда — мое молчание.

— Не понимаю.

— Угрызения совести— вот мои волки. Я всегда их слышу. Угрызения совести! Никто не сказал лучше, чем ваш Пушкин в «Борисе Годунове» об этих муках. Но я еще прибавлю. Угрызения совести— это как будто не хватает воздуха. Совесть спустила на меня с цепей своих волков. Я чувствую: моему нравственному преследованию нет конца. Жизнь превратилась в смертельный полусон. Воздуху мне уже не хватает. И быть мне темно-бурым лосем на сине-зеленом льду...

И де Давен повернулся, намереваясь встать со скамьи, на которой мы сидели.

Я схватил его за руки:

— Что случилось с вами, Анри де Давен?

— Что случилось? — Де Давен пристально посмотрел мне в глаза.

В этот миг к нам подбежала старушка Мари:

— О, мосье де Давен, я везде ищу вас. Дилижанс на Прагу уходит через десять минут. Пассажиры уже занимают места. Вас ждут.

Поодаль из пансиона степенно прошел пожилой слуга. Он нес большой саквояж де Давена и его клетчатый дорожный плед. Издали донесся призывный голос почтового рожка.

Де Давен встал.

— Благодарю вас, мосье Веригин,— твердо и четко сказал де Давен.

— За что?

— За то участие, которое вызвало у вас мое молчание.

Де Давен вытянулся передо мной по-военному. Слегка склонил голову. Он был строг и подтянут, этот полковник колониальных войск Франции.

Я крепко пожал его узкую сухощавую руку.

Голос рожка прозвучал еще раз — резко, прерывисто, настойчиво.

Француз ушел. Я остался в глубоком раздумье.

ОПЯТЬ СВЯТОШИН

Карлсбад. 12 сентября

Дневник Веригина

Вот не ожидал! Утром выхожу к завтраку, а за моим столиком вместо полковника де Давена сидит... мой зна-

комый по Люцерну Анатолий Алексеевич Святошин. Тот, что ночами подавал мне лекарство, когда я был в забытьи. Он только что приехал из Мариенбада и будет жить в «Черном лебеде». Его комната рядом с моей.

15 сентября

Святошин занимает меня разговорами.

Сегодня я вспомнил о том, как врачевал в Севастополе во время Крымской кампании, как не хватало медикаментов.

— Тогда на волах через всю Русь в Севастополь доставляли ядра для пушек, — сказал Святошин. — Позор!

И его пронзительные, широко расставленные серые глаза остановились на мне. Он вдруг понизил голос:

— Сам бог послал мне вас. Для одной очень важной вещи: я попрошу вас ввести меня в Лондоне в дом к Огареву или Герцену. Не отказывайтесь! Выслушайте меня! Вам, может быть, неизвестно, что я помещик, владелец двадцати тысяч десятин в Херсонской губернии. Но не гнушайтесь мною. Начну издалека. Кто поднял руку на царя Николая Первого? Декабристы-помещики. Пойдем дальше: не сегодня-завтра на Руси будет переворот. А кто в этом деле голова? Помещики Яковлев, Герцен и Огарев! Хотите верьте, хотите нет! Но и я из тех помещиков, которые «чувствовать умеют!» — воскликнул он. — О Русь, о Русь! Когда же удары в набат «Колокола» Герцена разбудят тебя!

Святошин остановился. Он был взволнован. На лбу выступили капельки пота. Легким взмахом Святошин развернул ослепительной белизны носовой платок и поднес его к лицу. От платка пахло лавандой.

Карлсбад. 20 сентября

Дневник Веригина

Шесть часов утра. Пересматривал записи опытов с планариями. Не заметил, как прошла ночь.

Прервал дневник: кто-то постучал в дверь... А! Это старушка горничная Мари.

— Вот вам, мосье Веригин, письмо.— И Мари протянула мне плотный серый конверт с гербом. Ушла.

Я всмотрелся в латинский шрифт, в крупный, твердый,

размашистый почерк. Догадался сразу: это письмо де Давена. Вот оно:

«Дорогой Дмитрий Веригин!»

От души благодарю Вас еще раз за Ваше сердечное внимание к моей беде. Дилижанс помешал мне сказать Вам то, о чем я пишу в этом письме.

Я разрешаю себе обратиться к Вам, уважаемый друг, со следующей просьбой. Не найдете ли Вы, мосье, возможным оказать мне услугу, которую я буду помнить, пока бьется мое сердце?

Не представится ли Вам возможность, когда будете возвращаться домой, побывать во Франции, в старом маленьком приморском городке Пелисье?

Там, в переулке Старые каштаны, живет госпожа Жермен Рамо. Сын госпожи Рамо, капитан Феликс Рамо, ранее служивший в колониальных войсках, был присужден к расстрелу, помилован, но погиб на каторге в Гвиане. Да! Погиб, потому что отказался стрелять в туземцев. Скорбная тень этого человека повсюду преследует меня. Но сейчас речь пойдет о другом.

Я хочу, я обязан вручить старушке матери некоторую сумму денег. Но сам я это сделать не могу. Не возьмете ли Вы, мосье, на себя это нелегкое поручение? Как это сделать, доверяю Вашему такту и деликатности и надеюсь, что Вы, вручая деньги, не назовете меня по имени, а скажете, что эти деньги просил Вас передать офицер, служивший в одном полку с ее сыном. Извините меня, пожалуйста, не слишком ли трудная моя просьба и не слишком ли она, эта поездка в Пелисье, помешает Вашим планам?

Желаю Вам счастья.

Ваш Анри де Давен.

Мой адрес: Бретань, город Нуар, замок Анри де Давена».

Карлсбад. 23 сентября

Дневник Веригина

Святошин продолжает занимать меня своими историями, то забавными, то невероятными. Характер этих историй одинаковый: осуждение и критика царского строя, гражданская скорбь о мужицкой доле. Но все чаще встает передо мной старый швейцарец Бургонь, все чаще я

вспоминаю его слова «...остерегайтесь этого человека».

Святошин огорчился, когда за обедом я сообщил о своем отъезде в Пелисье.

Он задумчиво забарабанил пальцами по столу, отбивая походный марш.

— Но ведь это ненадолго? На несколько дней? Я с нетерпением буду ждать вас.

Святошин подвинул к себе тарелку и посмотрел внимательно на суп. Я заметил жест, с каким он взял ложку — мягко и цепко. Я исподволь смотрел на Святошина, слушал его рассказы, наблюдал за ним. Да! Во всей его повадке ощущаю мягкость тигриных лап. Продолжая рассматривать суп, Святошин вдруг чему-то улыбнулся.

«Ну, сейчас начнет рассказывать», — подумал я. И не ошибся.

— Есть у меня друг в Москве, прокурор. Приедем домой — я непременно познакомлю вас. Непременно. — И Святошин еще раз улыбнулся.

Но глаза его оставались холодными и спокойными. Затем быстро стер улыбку с лица и начал:

— Помню, как-то прокурор пригласил меня посмотреть, как отправляют арестантов на каторгу. Пришел я. А он мне показывает кандалы. Глянул я на замки на кандалах и ахнул: на каждом из них любезное изречение, афоризм, так сказать... Замочник, видно, был человек с выдумкой и юмором. И вот на одном замке выбил: «Кого люблю — того дарю», на другом: «Кто любит больше, чем я, пусть пишет дальше меня»... Я гляжу и глазам не верю, мой товарищ прокурор хохочет: вот она, народная мудрость... сентенции на кандалах... — Святошин понизил голос: — Царь надел на русского крестьянина кандалы... А царский манифест об отмене крепостного права — слова «осени себя крестным знамением, русский народ» — чем не подходящая сентенция для кандалов? А? Что, если выбить эти царские слова на кандалах? А? Каково? — И Святошин пристально взглянул мне в глаза.

— Ваш суп стынет, — напомнил я.

Мой собеседник встрепенулся.

— Ну конечно, — сказал он, мягко протягивая руку за солью. — Простите. Я так легко увлекаюсь.

После обеда мы вышли в сад.

— Задумал я одно дело, — вдруг начал Святошин. — И вот обращаюсь к вам, Дмитрий Дмитриевич, за помощью

в этом поворотном, так сказать, для моей судьбы деле.

— Слушаю вас, Анатолий Алексеевич.

— Буду с вами откровенен. Начну издалека. Дед мой был другом Потемкина. За какие услуги — не скажу, но Екатерина Вторая наградила моего предка двадцатью тысячами десятин. Но я-то при чем тут? Ведь я рос, читал Руссо, изучал жизнь Робеспьера, зачитывался Рылеевым. Наизусть «Русскую правду» Пестеля заучил. И однажды спросил себя: что лучше — двадцать тысяч десятин или чистая совесть? Она ведь одна-единственная у человека, совесть. Либо чистая, либо грязная. Зачем мне мои угоды, если я — единственной чистой совести своей лишуюсь? И вот я решил: написал письмо царю. Правду-матку в глаза бросил. Надо, мол, землю у помещика взять и мужику отдать. Так и написал!

«Это еще что за затея? — насторожился я. — Что он замышляет?» И сказал вслух:

— А в чем, собственно, должна состоять моя помощь?

— Дорогой Дмитрий Дмитриевич, — медленно, как бы осторожно подбирая слова, начал Святошин. — Помогите, посодействуйте, чтоб это письмо мое царю было напечатано в «Полярной звезде».

— Письмо при вас?

Святошин достал из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист. Наклонился ко мне.

— Разрешите? «Царь! Монарх! — начал Святошин. — К богу и царю положено обращаться на «ты». Ты, царь, помещик! И я, твой подданный, дворянин Святошин, тоже помещик! И как помещик помещику обязан заявить.

Ты, царь, освободил крестьян от крепостной зависимости. Низкий поклон тебе за это деяние. Освободить-то освободил, но в еще горшее рабство мужика поставил. Что толку в тех разбросанных там и сям крохах земли, которые помещики выдали своим крестьянам? У пахаря дети пухнут с голоду, а рядом помещичьи латифундии пустуют и зарастают сорняком.

Знай и помни, царь! Мужик грамоте не обучен, но ему ведомо: земля не помещику принадлежит, а богу. Он верит, что бог его не обидит. А это значит: перекрестит мужик свой грешный лоб и с божьей помощью расправится с помещиками. Чем Емелька Пугачев народ поднял? Истиной своих прокламаций — обещал: жалую, мол, подданных своих землю да травами...

И пока не пришел новый Пугачев, надо и тебе, царь, и всем помещикам твоим поделиться с народом землею, лесами, лугами, живым и мертвым инвентарем».

Святошин не спеша сложил лист. Взглянул на меня.

— Я подписал это послание полным именем своим. А род мой царю хорошо известен. Итак, жребий брошен. Будь что будет. Кары не боюсь. Вместе с вами вернусь в Россию. Совесть моя очистилась.— С этими словами Святошин протянул мне руку.— Надеюсь на вашу помощь,— заключил он.— Я весь перед вами.

Глаза его сияли. Щеки горели. На лбу выступили капельки пота. Он легким взмахом развернул ослепительной белизны носовой платок и поднес его к лицу. И на меня опять пахнуло лавандой.

Мы остановились на ступеньках у входа в пансион.

— Возвращайтесь скорее! Буду ждать!

Святошин наклонил голову, затем повернулся и, мягко, бесшумно ступая, пошел к себе. Я смотрел ему вслед. Его походка... Он словно стлался, поворачивая голову направо, налево и то и дело всматриваясь во встречающих людей. Он почти не касался пола каблуками, приподнимаясь на носках. И с новой силой прозвучали в моей памяти слова старого часовщика из Люцерна:

«Рысья... рысья походка... остерегайтесь этого человека».

А ведь мои вещи в чемодане до сих пор пахнут лавандой...

Неужели?..

ИСПОВЕДЬ ДЕ ДАВЕНА

«Господину Дмитрию Веригину.

Карлсбад.

Пансион «Черный лебедь», комната 212.

Дорогой друг Дмитрий Веригин!

Безмерно благодарен: Вы согласились выполнить мою просьбу — отвезти деньги мадам Рамо в Пелисье. Посылаю деньги. Не забудьте сразу же отсчитать сумму на поездку в городок Пелисье, где живет госпожа Рамо в переулке Старые каштаны, и на обратный путь. Не знаю, увижу ли я Вас еще. Но Ваша отзывчивость вызывает у меня желание

быть с Вами откровенным. Я считаю обязательным для себя предложить Вам свою исповедь.

Еще раз от всей души благодарю Вас.

Ваш Анри де Давен».

«Исповедь де Давена

Четверть века я воевал в Алжире. И, без сомнения, кое-что сделал для умножения славы моей великой Франции. Не было дня, часа и минуты, чтоб я усомнился, хорошо ли я поступаю, огнем и мечом подчиняя полудикие племена моей родине и занимая земли, на которых они обитали или кочевали.

Под моим начальством служил воспитанник Сен-Сирского военного училища Феликс Рамо. Талантливый офицер, беспредельно храбрости, находчивый, весельчак и балагур, он быстро дослужился до чина капитана. Скажу прямо — я любил его.

Но вот вдруг офицеры его полка сообщили мне, что Рамо получил какое-то письмо. И с тех пор превратился в молчаливого и замкнутого человека. Я не придавал этому значения. И напрасно.

Однажды в маленькой деревушке туземцы оказали нам фанатическое сопротивление. Полк мой пошел в атаку. Но Феликс Рамо вдруг придержал коня и бросил на землю оружие! Все пришли в смятение. Я подлетел к нему:

— Рамо? Что случилось?

— Мой полковник, — воскликнул он, — я не буду убивать этих людей!

— Безумец! Ваша голова вальсирует! Ведите солдат! Вы не в своем уме!

— Мой полковник! Убейте меня, но я не подниму руку на этих несчастных! Они умирают за свою свободу. Я не буду убивать этих людей.

«Он с ума сошел», — подумал я и сам повел солдат.

Деревушка была взята. Никто не сдался в этом селении, и все были убиты. Мои солдаты с песней вернулись в лагерь.

На другой день Феликс Рамо предстал перед военным судом. Я сам был председателем суда. Я знал, что капитана Рамо расстреляют. Но я не забыл о годах его бесстрашных сражений с туземцами. Спешным пакетом донес обо всем военному министру, просил о смягчении участи Рамо. А пе-

ред самым заседанием я высказал судьям свое предположение: не перемешало ли солнце пустыни что-либо в голове капитана, не выжгло ли оно лучшую часть его души? И судьи, офицеры, которые знали и видели сто раз капитана Рамо в деле, задали ему на суде вопрос: не считает ли он сам свой страшный поступок случайным явлением? И не вызвано ли это предательством чести Франции какой-либо причиной, неизвестной начальству?

— Нет, господа судьи-офицеры, — спокойно ответил Феликс. — Солнце тут ни при чем. И голова моя в порядке. Я не стал убивать невинных туземцев. И впредь больше не буду убивать людей.

— А слава Франции? А присяга? А честь оружия? А долг солдата? — напомнили ему судьи.

— Нет! Все это тут ни при чем, — твердо сказал Феликс Рамо. — Тут совсем другое дело. Разве вы, господа судьи, сами не убедились, что туземец, будучи не в силах отстоять свободу своей родины, умирает гордо, красиво. А так ли живет и умирает случайно разбогатевший рантье во Франции?

— Он безумец! — возмутились судьи-офицеры. — Равнять французов с дикарями! Подсудимый Рамо! Откуда у вас такие идеи?

— Отказываюсь, господа судьи-офицеры, отвечать на этот вопрос.

— Вы забыли присягу. Опомнитесь, Рамо!.. Вы предали свою родину!

— Бедная моя Франция! — тихо сказал Феликс Рамо. — Моя прекрасная страна! Не я тебя предал. Твой хозяева по пустыням растрачивают свою жизнь и в оплату своих долгов распродают тебя, моя родина. Они завоевывают пустыни на чужих континентах, а сами свою же Францию превращают в пустыню. Они расплачиваются лесами Франции за свое беспутство в кабаках. Моя Франция! Ты скоро будешь без лесов, без тени под беспощадным солнцем. Да, господа судьи! А хозяева Франции в своих обветшалых замках и преуспевающих торговых конторах..

Я оборвал капитана Рамо.

Военный суд приговорил капитана Феликса Рамо к расстрелу. Я утвердил этот приговор, считаясь с моей солдатской совестью, с правдой всей моей жизни, жизни солдата — часового на страже славы Франции.

Рамо увели на расстрел. Рота по моей команде прицели-

лась. Но тут примчался на взмыленном коне курьер и вручил мне пакет. Военный министр заменил осужденному Рамо расстрел вечной каторгой в Гвиане. Феликса Рамо в цепях увезли в Гвиану. Больше я о нем не слышал. И не вспоминал.

Прошло три года. Я вышел в отставку и вернулся в свой замок в Бретань.

В старом замке, который был построен еще до первого крестового похода, меня приветливо встретила моя семья — жена, дочь и сын. Все было мирно в старом замке. В душе было чувство гордости за достойно прожитую жизнь.

Но настал такой час, когда я потерял покой. И начал думать: уж не прав ли был капитан Рамо?

Вот с чего это началось.

Моей семье потребовалась очень большая сумма денег: сыну — чтоб делать карьеру в столице, а дочери и жене — чтоб завести свой салон в Париже. Жена пригласила к обеду нотариуса. Он посоветовал продать старый родовой лес на сруб. Я запротестовал. Предки деревьев в этом лесу видели, как мои предки уходили в крестовый поход. Заботило меня еще и другое. Я знал: срубят лес — пески и дюны подступят к самому замку, он будет в песчаной осаде.

Но жена и дочь настояли на своем. И лес пошел на сруб.

И вот однажды на заре я проснулся от стука топоров. Глянул в окно. Увидел, как умирают деревья. И тут совсем неожиданно я вспомнил слова капитана Рамо: «Бедная моя Франция, ты скоро превратишься в пустыню».

Меня обступили воспоминания: атака... выстрелы... Рамо под судом, гордый, бесстрашный. С каждым стуком топора, с каждым падающим деревом все резче, все острее звучали в моем сознании слова Рамо: «Ты скоро будешь без лесов, моя страна... а хозяева Франции благоденствуют в своих обветшалых замках и преуспевающих торговых конторах...»

Я уехал из Бретани. Я стал разъезжать по Франции. И я увидел: леса страны гибнут. Их рубят, ими торгуют.

Веселый шорох чудесных семенных дубов в Беммо французы превращали в шорох бумажек, выручаемых шикарными ресторанами; радостный звон красавиц сосен в Верхней Луаре французы преобразжали в звон

луидоров в картежных домах и увеселительных заведениях.

Тяжкие раздумья мучили мой мозг и сердце. Мой внутренний мир раскололся надвое. И я тщетно пытался его склеить.

Полгода я путешествовал. А затем вернулся в свою Бретань, в свой замок.

Пни... всюду жалкие обрубки торчали из земли там, где когда-то рос мой старый добрый лес. Однажды ночью я долго не мог уснуть. И я пришел к океану.

Я шагал меж пней, угрюмо торчащих из земли.

По прихоти лесорубов на самом берегу среди дюн осталась одна высокая сосна. Как сейчас, вижу косой свет луны, а на песке тень дерева, засыпаемого песком. Верхушка сосны звенела, упорно качала ветвями, казалось — что-то доказывала океану.

Прошло время. Я получил сообщение: «Каторжник Феликс Рамо, капитан колониальных войск, застрелен охраной при попытке к бегству».

Не душевные муки и не угрызения совести, а острую колющую боль в сердце почувствовал я, когда прочел это сообщение...

Врач вылечил мое сердце. Но перед глазами непрестанно стоял погибший капитан Рамо. Звучали его слова — словно он, уходя из жизни, влил их в мое сознание. И правда этих слов стала становиться моей правдой. Но как примирить ее с воинской, солдатской правдой всей моей жизни?

Долг... «Я выполнил свой воинский долг», — тысячу раз в день повторял я себе. Но совесть уж прочно облеклась в одежду правды последних слов Рамо о Франции, о свободе. Я упорно боролся с моим понятием о долге перед Францией. И в этой борьбе я изнемог. И выхода не находил. И снова стал ездить по свету, ища покоя.

И вот я приехал в Карлсбад. Встретился с Вами. Остальное Вы знаете.

Я кончил, мой друг. Теперь Вам все известно. Рассказ мой о лосе и волках, надеюсь, стал Вам понятен. Я — лось, одинокий лось, которого преследуют волки. Какие? Угрызения совести.

Жду Вашего сообщения о поездке в Пелисье. К матери погибшего Феликса Рамо,

Ваш де Давен».

СВЯТОШИН РАЗОБЛАЧЕН

Карлсбад. 4 октября

Дневник Веригина

Итак — в дорогу. Во Францию. Приеду в Пелисье. Разыщу старушку Жермен Рамо. Исполню поручение де Давена. Передам деньги. А потом — домой.

Отправляю письмо друзьям в Женеву. Себе оставляю копию.

«Дорогие друзья и товарищи! Имею все основания предупредить вас: остерегайтесь Святошина. Вы в Женеве, а вместе с вами и я, поверили ему. Но он — враг. Заграничный агент Третьего отделения.

И доказываю я это вот как:

1) его выдал запах лаванды, сохранившийся в бумагах, лежавших в моем чемодане еще со времен Люцерна, когда он, как «милосердный христианин», ходил за мною во время болезни;

2) мне известны его попытки проникнуть в мою комнату в пансионе «Черный лебедь», когда меня не было дома. Об этом мне известно от старого служителя по фамилии Капка;

3) Святошин в разговорах со мной явно провоцировал меня на антицарские высказывания, пытался подчеркнуть «революционный» образ своих мыслей;

4) в своем стремлении проникнуть к А. И. Герцену потерял всякое чувство меры, состряпав некий «донос на самого себя», который он мыслил увидеть на страницах «Полярной звезды».

И еще (только не улыбайтесь): к сказанному выше можно прибавить предупреждение старого часовщика в Люцерне, определявшего людей по их походке: «Остерегайтесь его (то есть Святошина) — это нехороший человек».

Ваш...»

Часть пятая

ОЖИВШАЯ МЕЛОДИЯ

ТАЙНА ПЕРЕУЛКА СТАРЫЕ КАШТАНЫ

*Пелисье. Гостиница «Бель Вю»
8 октября, утро.*

Сегодня суббота. На рассвете приехал в Пелисье. Моя комната в этой приморской гостинице «Бель Вю» сумрачна и неприветлива. Одинокó глядит на океан маяк.

Иду к мадам Рамо. Она живет в переулке Старые каштаны, дом 25. Передам деньги — и домой. Документы в порядке.

Пелисье. Ночь.

Я задерживаюсь в Пелисье. Побывал в переулке Старые каштаны. Мадам Рамо не застал. Соседки сказали так: «И что это все приезжают к мадам Рамо непременно в субботу? То какой-то матрос, теперь вы. Мадам Рамо всегда в субботу уезжает в деревню. Там живет ее школьная подруга мадам Дефорж. А мадам Рамо вернется послезавтра, в понедельник».

С каким любопытством осматривали и спрашивали меня соседки госпожи Рамо! Допытывались, кто я, зачем приехал, какое у меня дело в Пелисье.

*Пелисье, 9 октября,
воскресенье, утро.*

. Дневник Веригина

Приморский городок Пелисье был когда-то славен и знаменит. Ныне он забыт всеми кораблями мира. А переулочек Старые каштаны, где живет мадам Рамо, самый забытый переулочек в этом забытом городке. Наверное, все дни здесь друг на друга похожи, как эти маленькие домики с глухими ставнями, которые закрываются с переулочка. Наверно, только два раза в день — вечером (когда с переулочка вталкивают в отверстие по бокам окон болты и ставни крепко-накрепко прижимаются к стеклам окон) и утром (когда открываются ставни) — тишина переулочка нарушается стуком этих болтов. Но весь день и всю ночь тихо дремлет

переулок. Дремлет и этот старый-старый городок, вспоминая старинные пиратские времена.

Но в прошлое воскресенье пришла в этот переулок тайна. Не выдуманная, а настоящая. И принес ее неизвестный матрос с неизвестного корабля.

Было так (со слов тетушки Фланш, соседки мадам Рамо).

Рано утром, еще только стали открывать ставни в домах, тетушка Фланш, выйдя на крылечко, увидела, что в переулке появился моряк. Он курил короткую трубочку, поглаживая бороду, которая росла у него под подбородком — прямо из шеи, — и все время присматривался к домам. Он что-то искал.

Так дошел он до домика мадам Рамо. И сразу же взбежал на крылечко и потянул ручку звонка. Ответа не было. Постучал в окошко. Занавеска не поднималась. Тетушка Фланш, соседка мадам Рамо, услышала стук, вышла на крылечко и сказала:

— Не звоните и не стучите! Хозяйка дома уехала вчера, в субботу, в деревню. К мадам Луизе Дефорж. Очень почтенной даме. Обе они когда-то в одном пансионе жили и учились.

— А когда же вернется хозяйка?

— В понедельник.

Моряк сел на приступочку крыльца.

Шли часы... Жители переулка ходили мимо домика мадам Рамо. Смотрели: моряк то сидел на крылечке, то подходил к окошку дома и, приложив к лицу обе ладони, смотрел через стекло в квартиру. Смешной моряк! Ведь не пряталась же мадам Рамо в полутьме своего дома! Иль, может, моряк хотел увидеть, какая у нее мебель? Кто его знает? Соседки мадам Рамо звали моряка откушать кофе — надо же было узнать, откуда и зачем он прибыл сюда. Но моряк поблагодарил и отказался. Он достал из сумки кусок вяленого мяса и флягу вина. И тут же, на крылечке, позавтракал. Был полдень, когда жительницы переулка, посоветовавшись с мужьями, подошли к моряку и прямо спросили о том, что привело его в городок. Моряк усмехнулся.

— Надоело мне смотреть на море. Вот и решил на эти окна посмотреть.

Соседки продолжали свои расспросы: откуда же он был? И моряк рассказал, что совсем недавно шхуна его была у острова, где водятся удивительные черепахи. Там он

катался на одной гигантской черепахе — стоял на ее спине, она его возила.

— Да, — говорил он, — душа болит, когда видишь, как черепахи плачут! Сам видел слезы у них на глазах. Черепахи выходят из моря на острова и откладывают свои яйца: чтобы в горячем песке вывелись маленькие черепашки. Я видел, как гигантские черепахи яйца отложили, зарыли в песок. И поползли к морю. Но чего-то не рассчитали. Начался отлив. Добраться до моря далеко, а черепахи всё ползут. Им трудно, очень трудно. На глазах слезы. Сам видел... Что делать?! Всем на свете нелегко живется... Кругом слезы...

— А все же...

— Что? Вам угодно знать, откуда я приплыл и куда уплываю?

И тут моряк запел песенку о том, как долгон путь до какой-то Цитереи, где красавица живет...

Моряк ждал до вечера. А когда в домиках появились огни, моряк стал прощаться. Его уговаривали остаться до утра, звали в дом.

Нет! Шхуна его уходит на заре. А капитан — суровый человек. Конечно, он не вздернет его на рею, эти времена прошли, но опоздай он на минуту — и жизнь его станет сладкой, как морская вода. Что делать... Жаль, не повидал мадам Рамо. И моряк из-за пазухи достал какой-то пакет, запечатанный пятью сургучными печатями, вручил соседям и попросил:

— Вот передайте мадам Рамо...

— А вы? Как сказать о вас? Кто же вы?

Моряк махнул рукой: не имеет значения! Соседи смотрели на запечатанный пакет, смотрели вслед моряку, который шел по переулку неторопливой, уверенной походкой, и ничего не понимали.

Мадам Рамо, как обычно, вернулась в понедельник утром. Соседки сразу заполнили дом. Рассказали про матроса. И стали ждать: что написано в письме? Но мадам Рамо не стала читать при всех... Ни в тот день, ни на следующий не проронила ни слова. На том и кончилось.

И тетушка Фланш развела руками в знак того, что больше ей нечего сказать.

Так в переулок Старые каштаны вошла тайна. И этот воскресный день — приход моряка с письмом — выскочил

из ряда схожих тысяч дней, выскочил, стал в сторонку и сказал на ухо каждому жителю переуллка: «Вот вы все и не знаете, что написано в письме за пятью печатями, не знаете вы, кто этот моряк, откуда он приплыл и куда уплыл, и не знаете, почему ваша соседка госпожа Жермен Рамо все молчит и молчит».

ЖИВ! ОН ЖИВ!

Пелисье. 10 октября. Вечер

Дневник Веригина

В понедельник утром отправился опять в переулок Старые каштаны. Осторожно потянул ручку звонка.

Дверь широко раскрылась. Седая старушка в черном закрытом платье с недоумением и любопытством в больших и молодых глазах внимательно осмотрела меня с ног до головы. Пригласила в дом.

Я рассказал, как мог, о цели моего приезда. Протянул пакет де Давена. Странное дело! Не было печали в глазах матери, когда я сказал ей о том, что друг ее сына Феликса горюет вместе с ней о гибели ее сына.

Почему-то очень настойчиво она стала меня расспрашивать, где я родился, где рос. Я подробно рассказал ей все о себе. Она в свою очередь сообщила, что была когда-то в Москве, служила гувернанткой в доме на Молчановке. Но это было полвека назад... Опять переспросила:

— Так вас преследовали? И вы беглый?

— Да, мадам. Мне дважды удалось бежать.

И чуть я сказал, что дважды бежал, как она воскликнула:

— Я вам верю, мосье.—И глаза ее молодо заблестели.— Так знайте же — он жив! Да! Да! Мой сын Феликс Рамо жив. Он, так же как и вы, был осужден. Бежал из тюрьмы. О нем начальству сообщили: погиб. Но вот... вот письмо. На конверте было пять сургучных печатей. Какой-то моряк привез. И никто в городке этого не знает. И не узнает. От всех скрываю. А вам — верю.

Я вскочил со стула.

— Может ли это быть?

— Что, не верите? Так вот — читайте.

Привожу почти дословный пересказ этого удивительного письма.

«Мадам! Все считают, что Ваш сын Феликс Рамо, гвианский каторжник, капитан колониальных войск Франции, погиб при попытке к бегству от пули французского сержанта и утонул в реке Морони в Гвиане. Это не так! Он жив. Он бежал, стража в него стреляла, но промахнулась. Он не утонул. Переправился на другой берег и уже давно собирался тайком вернуться во Францию. Друзья ему помогали. Но черный бес Гвианы — малярия сокрушила его. Хотите спасти сына — передайте подателю сего, моряку, имя которого вам не следует знать, хину. Это лекарство его спасет. И вы, мадам Рамо, обнимете еще в этом году своего сына. О письме никому ни слова. Узнают — начнут искать вашего сына. И тут уж ему несдобровать. Найдут — повесят.

Вотрен».

Вотрен? Я не поверил глазам. Вгляделся. Да, подпись — «Вотрен». Что за штука! Ведь человека по имени Вотрен нет на свете. Это знаменитый герой романов Бальзака, беглый каторжник.

— А вот еще одно письмо, — прервала мадам Рамо мои беспокойные размышления. — Я получила его от Феликса год назад, но это все равно.

И она стала читать вслух:

— «Дорогая мама! Я жив. Итак, год, как я в Кайенне. Каторга — это каторга. Но страшнее этой гвианской каторги были те дни, когда я, капитан французских колониальных войск, обязан был приказывать другим уничтожать деревни, стрелять в стариков, женщин и детей. На военной службе в колониях я долго подчинялся присяге и делал черное дело. Но настал час, и душа моя открылась. Я глубоко задумался о судьбе моей Франции. Постепенно я почувствовал, что не буду участником колониальных преступлений моего правительства. А смерти... смерти я и на войне не боялся.

Напиши брату в Россию, что сделать мою душу ясной и спокойной помогло его письмо о том, что такое свобода и что такое деспотизм.

Я уверен: брат согласится со мной во всем. Ты ведь воспитала нас честными людьми.

Будь здорова, дорогая, и спокойна за меня. Я знаю, что брат посылает тебе деньги. Он никогда не оставит тебя.

Обнимаю тебя. Твой сын Феликс».

Я стоял ошеломленный. Что же это такое? Тот, кого считали погибшим, жив!..

— Позвольте предложить вам чашку крепкого чая или лучше кофе, — мягко сказала мадам Рамо. — Не отказывайтесь. Прошу вас.

С этими словами мадам Рамо ушла. Из-за закрытой двери послышалось звяканье ложечек, чирканье спичек; скрипнула дверца буфета, зазвенела посуда.

Я стал перечитывать письмо с подписью «Вотрен». Задумался. Верить ли письму, которое подписал человек, заменивший свое имя именем литературного героя из произведения Бальзака? Но мать Феликса Рамо понимает, что имя Вотрена — выдумка, и верит письму. Итак, судьба Феликса связана с каким-то Вотреном!

Но кто же... кто этот Вотрен? И какая странная подпись! Буква «н» отлетела от остальных и в решительном завитке чем-то напоминает букву «п», как писал ее Наполеон, ставя свою подпись на бумагах.

ХИНА И ПАРА ВЯЗАНЫХ ШЕРСТЯНЫХ ЧУЛОК

Пелисье. 10 октября. Ночь

Дневник Веригина

Мадам Рамо в кухне варила кофе. Аромат его постепенно проникал через закрытую дверь, наполнял гостиную.

Голова моя шла кругом. Надо было сосредоточиться.

Не выпуская из рук письма Вотрена, я стал разглядывать гобелен, который закрывал целую стену этой комнаты. На гобелене во всех подробностях был выткан сбор винограда в Бургундии. И радостная праздничность струилась от этой картины.

Почтенная поселянка с веселым видом опрокидывает корзинку винограда в огромную бочку, где бородастый поселянин (наверно, ее муж), поглядывая на нее, давит виноград. А вдали от них, у другой бочки, молодая поселянка, улыбаясь, держит ведро вина, а хорошо причесанный юноша льет вино в бочку.

Суетливые дети подбирают виноградные кисти. Вместе с поселянами трудится и сеньор. Он в праздничной одежде. Ему помогает красивая блондинка с задумчивым взглядом.

А в другом конце виноградника какие-то очаровательные дамы в тяжелых платьях из красного бархата нежными перстами срывают гроздь винограда и укладывают в корзинки. Вдали на холме высится замок. И, наверно, ум художника занимала одна трогательная идея: о совместном труде владельцев замка и простых поселян.

Я загляделся на гобелен и даже не сразу услышал, как в комнату вошла старушка Рамо.

— Мосье смотрит на гобелен... Его сорок лет назад привез из Парижа Огюстен, мой муж,— сказала она, положив салфетку на пеструю бархатную скатерть.

Затем она принесла блестящий медный кофейник и две узкие маленькие чашки.

— Мой Огюстен был художником,— продолжала мадам Рамо.— Но его обидели в Париже. Посмеялись над его картинами. И тогда он стал моряком... Прошу вас, чашечку настоящего турецкого кофе...— И мадам Рамо подвинула мне чашку кофе и корзиночку с домашним печеньем. Она смотрела на меня добрыми глазами, слегка склонив голову набок.— Мосье, видно, очень устал.

— Да. Устал.

— О, моим сыновьям тоже досталась нелегкая жизнь! Но они у меня честные мальчики.

Она на мгновение задумалась, потом вышла в соседнюю комнату и вскоре вернулась со свертком в руках.

— Вот хина,— тихо, как бы про себя, сказала она.— Вот шерстяные чулки. Для сына. Эти чулки — чистая овечья шерсть. Я связала их своими руками. Сколько моих слез упало на эту работу!

— А как передать?

— О мосье! — вырвалось у нее.— Если б вы знали, как я жду этого моряка, что принес письмо от какого-то Вотрена! Этого человека или кого-либо другого. Как я жду! Но господи, господи, сколько же ждать! Может быть, день, может быть, год! А сын мой умрет, не дожидаясь лекарства.

Мадам Рамо перевела на меня вопрошающий, скорбный взгляд своих черных глаз.

— Начинается ночь,— прошептала она.— Я не сплю и говорю себе: вот хина для Феликса, а сам Феликс без хины, может быть, сегодня ночью умрет. Если б я была в силах сама отвезти ему хину! Но ревматизм часто укладывает меня в постель. Добрая соседка тетушка Фланш неделями

ухаживает за мной. Кто же, кто переплывет океан ради моего сына? Никто.— И она низко опустила голову. Губы ее чуть дрогнули.

— Я! Я отвезу! — вырвалось у меня.

И разве мог я сказать иначе?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АЛЬБОМ

Атлантический океан.

Шхуна «Лютеция»

13 октября 1863 года

Дневник Веригина

Ветер надувает паруса. Шхуна «Лютеция» держит курс на Гвиану. Как найду я там этого сказочного Вотрена? Волны с грохотом бьют о борт шхуны, гонят шхуну все дальше и дальше от Франции и все ближе и ближе к Французской Гвиане.

Я сижу в своей каюте. Я — корабельный врач на этой шхуне. Уже произвел осмотр всей команды.

За дощатой перегородкой каюты чуть слышны голоса матросов, волны лижут, трогают борт шхуны, а она, чуть поскрипывая, все плывет и плывет со своим торговым грузом к берегам Гвианы.

Как я очутился здесь, на борту шхуны «Лютеция»?

О том, что торговая шхуна «Лютеция» отплывает во Французскую Гвиану, я узнал, скитаясь по Гаврскому порту.

— Какое мне дело, есть ли у вас диплом врача или нет! — сказал мне капитан «Лютеции». — Отвечайте, сколько вам платить?

— Нисколько!

— Что-то подозрительно! Но я ничего не боюсь. Плывите. Беру вас. Кормить буду.

— Но я обязан предупредить: моя врачебная практика...

— Опять о том же! Надоело. Я моряк! А восемь лет назад воевал под Севастополем. Видел, знаю работу русских медиков. У меня глаз морской. Наметанный.

— А помещение, господин капитан?

— Отдельная каюта. Будут больные — прикажу пригласить к вам на койку. Все! Сказал — завтра отплываем!

«Марсельеза!» Ее бодрый напев — в моей каюте. И льется он из старинного альбома с украшениями из бронзы.

Здесь, в маленькой каюте, я раскрываю этот музыкальный альбом с удивительными рисунками. Его передала мне мадам Рамо для своего сына в Гвиане. (Можно подумать, что чуть я сойду на берег, так сразу же попаду в объятия Феликса!)

Три дня назад мы простились с мадам Рамо.

Я сделал десяток-другой шагов по тихому переулку, как вдруг услышал чей-то возглас. Оглянулся. Мадам Рамо спешила мне вслед.

— Остановитесь, мосье!

Я пошел ей навстречу.

Старушка держала в руках какой-то предмет:

— О, мосье! Ваше великодушие... Вы увидите моего мальчика... Так возьмите...

— Что это, мадам Рамо?

— Альбом, мосье. О, это почти талисман. Все свое детство маленький Феликс больше всего любил разглядывать эти рисунки. Чуть заболит — я ему в кроватку сразу даю этот альбом. И он засыпал и просыпался с этим альбомом. И быстро поправлялся. Отец Феликса, мой муж, в юности пробовал свои силы в живописи. Я уже рассказывала вам об этом. Но картины его были отвергнуты на выставке в Салоне. Он стал матросом, а потом капитаном на кораблях, уплывающих в далекие страны, и там он делал зарисовки. Он возил с собой какие-то увеличительные стекла... И все рисовал морских зверей — таких, которых никто не видит. Этот альбом переплетен в пергамент. Он не боится воды.

— Хорошо, мадам!

— А! Вот еще... Слушайте... Затейник был мой дорогой Огюстен. Откройте альбом. Вот ключик. Видите! Вставьте его вот сюда. Осторожно, поверните вот так.

Я повернул ключик. Крошечный механизм, спрятанный в альбоме, пришел в движение: закрутился валик с шипами, зубчики гребня стали цепляться за шипы. И в тихом полусумраке одинокого переулочка мелодично и нежно зазвучала мелодия «Марсельезы».

Я не мог удержаться от улыбки. Глаза мадам Рамо сияли.

— А рисунки вы посмотрите в море. Или вместе с сыном... И, как в детстве, чем больше он на них будет смотреть, тем скорей поправится... Прощайте, мосье. Пусть вместе с этим альбомом придет к вам счастье и радость.

— Вы очень добры ко мне, мадам Рамо! Не знаю, я еще ничем не заслужил...

— Полноте! Мой Огюстен говорил: настанет время, и все люди станут так добры, что у кого не хватит доброго дела, которое он сможет сделать, то он постучит в чужое окошко и попросит: дай мне одно из твоих желаний сделать доброе дело... Да, да, мосье,— добро рождает добро.— И большие глаза мадам Рамо чуть увлажнились.— Благословение матери пусть сопутствует вам всюду и везде,— тихо сказала она.

Я низко поклонился и ушел молча. Не оглядывался. Но знал, что мадам Рамо еще долго смотрела мне вслед.

Шхуна «Лютеция», 23 октября

Дневник Веригина

Ветер надувает паруса шхуны «Лютеция». Волны плавно, бережно несут шхуну. Белая пена с легким шипением убегает за корму.

Когда-то будем в Гвиане? Что сулит мне эта страна?

Чем ближе берега Гвианы, тем больше растет тревога. С чего я там начну? Не знаю. Кто этот Вотрен, который прислал письмо? Не знаю. А как найти человека, который скрывается под именем Вотрен? Не знаю! Где искать беглого каторжника Феликса Рамо, который болен и скрывается от всего мира! Не знаю!

Конечно, имя Вотрен — выдумка. Но я верю тому, что написано в письме за подписью «Вотрен». Верю в добрый порыв души того неизвестного человека, который прислал с матросом это письмо.

Если письмо за подписью «Вотрен» не лживое, если я отыщу Феликса в джунглях Французской Гвианы, если Феликса еще не задушила малярия и он жив, если я его вылечу (небо, сколько «если!»), то я с легким сердцем вернусь в Россию.

Шхуна «Лютеция», 29 октября

Дневник Веригина

Вчера я в сотый раз рассматривал этот забавный музыкальный альбом.

С какой любовью, с каким мастерством художника и наблюдательностью натуралиста зарисовывал Огюстен Рамо мельчайшие водоросли, моллюски и даже радиолярии! Какое разнообразие форм... И внимание мое на мгновение привлек ажурный шар, усеянный длинными иглами и накрест опоясанный узорчатой полосой.

Сколько воспоминаний будит во мне слово «радиолярия»! Я познакомился с ним, еще будучи ребенком: одноклеточные существа, состоящие из ядра, погруженного в студенистую массу — протоплазму. Когда я стал изучать геометрию, отец достал из шкафа книгу под названием «Собрание морских чудес».

— Смотри не только в учебники, — сказал он мне, — но и в этот атлас. Вот шар... а вот треугольник, пирамида, квадрат, октаэдр, многогранник. Видишь, в какие затейливые наряды облачила мать-природа детей своих, самую мелюзгу. Но здесь не только геометрия. Вглядишься. Мне кажется, что радиолярии могли спросить первобытного человека: умеешь ли ты обороняться, нападать и украшать себя?

— Не понимаю, папа. Объясни.

— А тут ведь все ясно. Посмотри... Умеешь ли ты обороняться, человек? Нет? Глянь: вот кольчуги, шлемы, щиты. Перенимай! А если будет сражение — вот тебе дротики и стрелы, гарпуны, копья и мечи. А разве можно жить без украшений? Так выбирай — перед тобой короны и венцы, кольца, кресты и звезды... И еще посмотри. Вот решетчатый шар, ажурный. Он схвачен накрест узорчатым пояском. А из этого ажурного шара торчат тонкие острые выросты. Ежик не ежик, просто — сказочное существо!

— Хитро! Сколько их, этих радиолярий! И все разные. Вот бы посмотреть их живьем!

— Когда-нибудь увидишь. Радиолярия различима только под микроскопом — это клетка с ядром и протоплазмой. Под видом необычайного костюма создала она для себя

прочную защитную оболочку из кремнезема. Какую силу жизни, красоту жизни являет это крошечное, хрупкое и вместе с тем такое стойкое существо!

В дверь каюты постучали: меня зовет капитан.

Уходя, я еще раз глянул на зачаровавший меня в музыкальном альбоме рисунок решетчатого шара с узорчатым пояском.

— Скажите по совести,— так встретил меня капитан и хитро прищурил левый глаз,— какая сила гонит вас в Гвиану?

— Лечебные травы,— ответил я не моргнув.

— Травы?

— Да... для борьбы с малярией. Я ведь врач.

— Значит, вы собираетесь воевать с малярией. Похвально! Эта желтая ведьма не знает управы. Замучивает в ознобе и лихорадке всех подряд. Так что смотрите в оба, а не то... вы на нее с травкой, а она вам петлю на шею. Впрочем, дело ваше.

— Скажите, капитан,— спросил я,— вот я отправляюсь в свое путешествие, буду плавать по рекам Гвианы, бывать в тропическом лесу, но скажите: где и каких людей увижу я на берегах рек или в лесу?

— Во Французской Гвиане десять или пятнадцать видов обезьян. Черт побери! Есть очень занятные обезьяны. Изучайте, удивляйтесь.

— Простите, капитан, я спрашивал о людях...

— Да! О людях! Так вот, если повезет, познакомитесь с ягуаром.

— А люди?

— Зачем вам люди? Разве мало людей на своем веку видали вы? В реках Гвианы и на берегу водятся водяные удавы — боа и анаконда. Самое звучание этих слов поражает наш слух: бо-а... а-на-конда! А рыба пи-рай-я... змея ла-ба-рия... Что за слова — красота!

— Я вам еще нужен, капитан? — спросил я, потеряв надежду на прямой ответ. — Можно идти?

— Ах да, вы что-то спрашивали о людях? Так вот: в чаще джунглей скрываются негры, индейцы и, конечно, беглые; по окраинам леса, по берегам речушек и ручьев бродят белые — те, кто не в ладу с французским правосудием, просто бродяги и еще золотоискатели. Уж не разыскиваете ли вы какого-либо дальнего родственника — золотоискателя? Хотите разбогатеть?

— Нет, не хочу. Мне нужны травы. Чтоб помочь людям одолеть малярию.

— Допустим! — При этом капитан снова хитро прищурил левый глаз. — Однако качка усиливается. Ишь как шхуну кладет набок! Слышите команду: убрать паруса, задраить люки, — боцман не дремлет. Похоже, будет шторм. Знакомы с морем? Нет? Сейчас узнаете, почему фунт лиха.

...Шторм позади. Грозный и прекрасный. Но сейчас мертвая зыбь. Огромные округлые валы. Шхуна то вздымается ввысь, то проваливается в пропасть. И так без конца. Кажется, что в мире ничего не осталось, кроме этих живых серо-зеленых холмов, по воле которых все вокруг обречено бессмысленно качаться вверх-вниз, вверх-вниз... до бесконечности.

Что скажете вы мне, волны Атлантики?

Где конец тревоги? Где предел морской тоске? Где надежда? Найду ли я в этой Гвиане человека, которому везу лекарство?

В ГОСТЯХ У ТЮРЕМНОГО ВРАЧА

*Порт Кайенна. Борт шхуны «Лютеция»
31 октября*

Дневник Веригина

Только что вернулся от тюремного врача.

Казалось бы, какой нелепый поступок! Разве ищут человека, бежавшего из тюрьмы, в доме тюремного врача? А я именно так и поступил.

Когда я сошел с корабля на берег и остановился в недоумении, куда идти, передо мной возник образ московского тюремного врача Федора Петровича Гааза. Этот необычайной доброты человек пользовался в пятидесятые годы огромной популярностью среди арестантов. Служить арестантам, заключенным в царские тюрьмы, помогать людям с несчастной судьбой, забросившей их на дно жизни, — в этом только и видел доктор Гааз всю цель, весь смысл своей жизни. Недаром этого тюремного врача, пребывавшего в своей должности более двадцати лет, в народе называли «святым доктором», а арестанты даже сложили поговорку: «У Гааза нет отказа». Умер Гааз в 1853 году. И на его мо-

гильном памятнике на кладбище в Москве высечена надпись: «Спешите делать добро».

Так, может быть, не очень уж странно, что поиски капитан-торжника Феликса Рамо и загадочного Вотрена я, врач, начал с того, что решил побывать у тюремного врача в Кайенне.

Итак, я сошел со шхуны и спросил первого встречного, где живет тюремный врач.

— А! Господин Ги де Лорен? — чему-то улыбнувшись, проговорил прохожий и назвал адрес.

— Господин Ги де Лорен здесь живет? — спросил я у высокого задумчивого негра, который стоял на крыльце дома с окнами, забранными решетками.

Негр посмотрел на меня пристально и внимательно.

— Да, мосье! Тюремный врач господин Ги де Лорен живет в этом доме. Я его слуга. Меня зовут Сэмюэль. Сэм.

— Сэм, доложите, пожалуйста, доктору Ги де Лорену, что ему желает нанести визит врач со шхуны «Лютеция», прибывший сегодня в Кайенну из Гавра. Мое имя — Веригин.

— Доктор Веригин со шхуны «Лютеция», — повторил негр.

— Сэм! — послышался чей-то громовой голос. — С кем ты там разговариваешь?

Дверь распахнулась. Держа бокал вина в руке и отпивая из него, предстал предо мной на крыльце человек огромного роста в темно-коричневом стеганом халате, на котором были вышиты две золотые лавровые ветви. Буйная седая копна волос, глаза насмешливые, острые и внимательные.

— Слышал! Все слышал! Врач со шхуны «Лютеция»... Визит... и так далее... Название вашей шхуны мне нравится. Но я еще не знаю, коллега, понравится ли вы мне. Посмотрим. Предупреждаю: когда будете со мной говорить, не думайте, что я чудак (потому что я действительно чудак!). Мне так можно думать, вам — нет! Так отвечайте же, сударь, не сходя с места, какой дьявол притащил вас в нашу веселую Кайенну? Это весьма подозрительно. Клянусь! Мир и так полон загадок! Зачем же вы своим приездом задали мне еще одну? Что вы, коллега, молчите?

Я действительно молчал. Не знал, что ответить.

— Ну и дьявольский сон: капитан «Лютеция» Гонс, скопидом, церковная крыса, крохобор, приглашает к себе на шхуну врача. Загадка! О планета, я люблю тебя за твои загадки! Но что же вы молчите?

— Мосье! Денег мне капитан Гонс не платил. Я отказался от денег.

— Удар толедского клинка! Я повержен в прах! Какой же дьявол заставил человека плыть в наш ад, в эту Кайенну, да еще без денег?

— В Гвиане хозяйничает малярия. Так?

— Так! Что дальше?

— Надеюсь, вы знаете: Гумбольд, когда его спутник Боплан заболел малярией, сделал настойку коры хинного дерева. Напоил больного. Но Боплану стало еще хуже. Тогда местный врач дал больному мед и настойку корня Кортца. Больной выздоровел.

Доктор Ги де Лорен насмешливо прищурил один глаз:

— А вы тут при чем?

— Я хочу найти в Гвиане те растения, которые справляются с малярией...

— О! Похвально! Я еще не спросил: откуда вы? Где ваша родина? Как вас звать?

— Мосье, мое имя Веригин. Я из России.

— Прекрасно! Врач Веригин из России, желая обогатить медицину, пустился в плавание. Пью за мореплавателя Веригина. А где же ваш бокал? Ах да, мы ведь стоим на крыльце. Скорее к столу!

И Ги де Лорен подал знак негру. Тот широко распахнул предо мной дверь.

Я шел по длинному коридору, окна которого были забраны решетками. Доктор Ги де Лорен следовал за мной. Так я оказался в гостях у тюремного врача.

РАЗВЕДКА СЛОВОМ

— Итак, мой гость, — обратился ко мне хозяин, когда мы уселись за стол.

— Мосье! Я уже сказал — мое имя Веригин. Дмитрий Веригин.

— Итак, Дмитрий Веригин, поднимаю бокал за вас и за то, чтобы вы благополучно вернулись во Францию на вашей шхуне «Лютеция».

— Ваше здоровье! Но я уже сообщил вам: я остаюсь в Гвиане, искать травы от малярии.

— Остаетесь здесь? — И с этими словами Ги де Лорен пронзительно взглянул на меня. — Наш губернатор говорит так: не для праздных путешественников и бездельников-гостей и даже не для искателей целебных трав, а для себя, для Франции, открыли Гвиану французы.

— Не французы, а испанцы, мосье, Гвиану открыли испанцы — Колумб во время второй экспедиции, а затем Охеда.

— Истина — всегда истина! За здоровье испанцев, которые открыли Гвиану для французов.

— Для французов? Да! Каторгу и тюрьмы французское правительство действительно создало для своего народа, для несчастных его сынов, в этой Гвиане! За кого же пить?

— Якобинец? Вы якобинец, мосье Веригин!

— Я искатель.

— Все равно — якобинец! Впрочем, матушка-малярия не разбирает, ей все равно — роялист или жирондист, богач или бедняк, аристократ или столяр! Ведь она, малярия, — главная хозяйка Гвианы. Царица желтого ада, она не знает на себя управы. Ей ни до кого нет дела! Когда-то ссылали сюда и роялистов и якобинцев. Вражда меж ними в Гвиане не успевала вспыхнуть — малярия укладывала их рядом и замучивала в ознобе и лихорадке и тех и других, и молодых и старых. С одинаковой страстью она качает людей в ознобе. И навсегда, насмерть, укачивает... — Ги де Лорен поднял бокал. — Ваше здоровье, искатель трав доктор Веригин, — с легкой иронией сказал он. И, точно отвечая своим мыслям, проговорил раздельно и четко: — Гвиану, конечно, открыли испанцы. А теперь хозяева здесь французы. Куда шагнет сапог французского солдата, куда ступит конь французского драгуна, там и Франция. Ведь французы — лучшие в мире воины! Выпьем за французское военное искусство!

— Вы имеете в виду Березину, мосье? Отступление армии Наполеона из Москвы? Ваше здоровье, доктор Ги де Лорен!

Доктор Ги де Лорен, верно, не расслышал моего тоста и продолжал:

— Воевать! Мы, французы, умеем воевать, мы, французы, умеем и лечить, врачевать.

— Безусловно. Ваш доктор Гильотен... его изобретение, сверхчудная гильотина, и впрямь прекращала любую болезнь человека... Он так лечил людей, этот доктор, что Франция при его помощи потеряла больше людей, чем при осаде Севастополя.

Так я говорил, а думал о другом, о своем: как, каким образом узнать о Вотрене, о беглом каторжнике Феликсе Рамо.

Но тюремный врач Ги де Лорен, услышав слово «Севастополь», сказал:

— Севастополь... Я был врачом французской эскадры под Севастополем. Видели ли вы когда-нибудь Пирогова? Бонапарт медицины — вот кто ваш Пирогов! К нам в плен попадали русские солдаты со следами смертельных ран. Этих солдат исцелил скальпель Пирогова. Чудо! Я хотел научиться, но разве научишься волшебству? Можете ли вы, Дмитрий Веригин, открыть мне тайну волшебства вашего Пирогова?

— Извольте!

— Скорее! Не шутите! Всю правду!

— Пирогов утверждал, что солдат-победитель всегда выздоравливает.

— Не понимаю!

— Извольте! Русский солдат всегда чувствует себя не побежденным, а победителем...

— Даже в Севастополе? — спросил Ги де Лорен.

— Севастополь — позор русского царя, а не народа.

— Так... — тихо сказал доктор и вдруг встал из-за стола. Посмотрел в упор: — Выкладывайте! На кой черт вам наша Гвиана? Зачем вы приплыли сюда? Русский якобинец — в гостях у тюремного врача... Отвечайте!

«Пора начинать, — решил я. — Будь что будет!»

И тут, чуть-чуть насмешливо глядя врачу прямо в глаза, я сказал:

— Начистоту? Извольте. Не за травами я приехал. Я приплыл, чтоб найти здесь Вотрена. У Балзака это имя того, кого называли «Убей смерть», а здесь, в Гвиане, живет настоящий Вотрен. Не книжный.

Ги де Лорен, не спуская с меня глаз, медленно поднес к губам рюмку с вином. Стало тихо...

«Идет игра, — подумал я, — кто кого. Надо держаться. Спокойствие».

— Вотрен? В Гвиане? Вы настаиваете на этом? — Доктор продолжал в упор смотреть на меня.

Я не успел ответить. Дверь резко распахнулась, в комнату вбежал, запыхавшись, негр Сэм:

— Господин! Опять барабаны...

— Стоп! Говори толком, Сэм! Что говорят барабаны?

— Опять лекарство нужно беглому человеку в джунглях.

— Проклятая малярия! — И Ги де Лорен ударил кулаком по столу.

«Беглый человек в джунглях...» — насторожился я. Но бежать он мог только из этой тюрьмы, что стоит здесь, на острове, посреди реки Морони. Так, может быть, этот беглый человек знает Феликса Рамо? Или это и есть сам Феликс Рамо?

— Скажите, доктор, — спокойно спросил я, — что это за беглый человек, что скрывается в джунглях?

— Зачем вам это знать? — спросил Лорен. — Вы врач или не врач?

— Не понимаю.

— Врач не спрашивает о больном, кто он. Врач лечит больного... кто бы он ни был. Даже беглый.

— Идет! Я буду лечить этого человека!.. — воскликнул я, глядя на Ги де Лорена.

— А чем, позвольте узнать? — усмехнулся тюремный врач.

— Хиной! — крикнул я, выйдя из терпения.

— Ага, доктор! Вы захватили с собой вместе с рецептом корня Кортца еще и хину?

— Да!

— И вы поедете в джунгли?

— Хоть сейчас!

Ги де Лорен не спеша наполнил вином свой бокал. Посмотрел на свет. Пригубил.

— Сэм! Готовь лодку. Будешь проводником. Завтра же в путь.

Итак, я отправляюсь лечить «беглого человека» по имени Ржевусский. Так назвал его доктор Ги де Лорен. Но я убежден: «беглый человек» — это Феликс Рамо.

Порт Кайенна. Борт шхуны «Лютеция»

2 ноября

Дневник Веригина

На следующее утро я пришел к Ги де Лорену. Попрощаться перед отплытием.

— Что это у вас? — спросил доктор. — Альбом? Зачем вы, отправляясь в Гвиану, вздумали везти с собой этот альбом? Что вы будете с ним делать? Уж не думаете ли вы тащить его с собой, чтобы развлечь больного Ржевусского портретами своих родственников?

Мне надо было сказать: «Я догадался, кого вы скрываете под именем Ржевусского. Это и есть Рамо. Альбом этот принадлежит ему». Но я ничего не сказал. Я просто открыл альбом. Повернул ключик. Зазвучала «Марсельеза».

— Занятно! — одобрительно заметил доктор. — В Париже у меня... Впрочем, это неважно. Так вот: все же оставьте-ка эту вещь здесь.

Ги де Лорен взял альбом. Стал его листать.

— Занятно! — повторил он. — Смотрите-ка! Рисунок... кораллы, медузы... и даже радиолярии. Добрый урок художникам и архитекторам. А как ловко сделан ключик! А! Смотрите-ка, коллега Веригин.

— Согласен, ключик хорош, — ответил я. — Но мне от того не легче.

Доктор удивленно поднял глаза от альбома:

— А что вам, собственно, в жизни нужно, кроме целебных трав, ради которых вы притащились в Гвиану?

— Мне нужен ключ...

— Может быть, этот? — сказал весело Лорен, вертя перед моими глазами ключик от альбома.

— ...отмычка к тайне тысячелетней жизни человека, к непреходящей юности, — вот что мне нужно, — не сдержался я.

Лорен поднял брови. Он пристально глядел мне в глаза.

— Занятный же вы человек, мосье Веригин. И давно вы занимаетесь такой... затеей? Или это игра слов?

— Нет! Тут не игра! Вам, конечно, известно, что одно-клеточное существо не знает трупа.

— Да. Оно не гибнет: оно делится себе и делится.

— И, начав с одной клетки, природа создала многоклеточное существо — змею... птицу... человека...

— Допустим.

— Ну вот. И природа, умножая одну клетку в миллиарды раз, где-то нарочно допустила ошибку, припрятала какую-то деталь. Так появилась у человека короткая жизнь. И за нею — смерть. А мне кажется, я нашел подсказ, как вернуть человеку это утерянное тысячелетие.

Ги де Лорен внимательно меня слушал, Альбом играл «Марсельезу».

— Жить тысячи и тысячи лет. Быть бессмертным... Но бессмертие существует. Разве не бессмертны Гомер, Гёте, Рафаэль? А ваш Пушкин? Для всего человечества они, конечно, бессмертны. «А для себя?» — спросите вы. По насыщенности своей творческой души, своей фантазии, по напряженности мысли каждый из них еще при своей жизни, как бы она ни была коротка, прожил в десять, двадцать... сто раз больше, чем простой смертный, дотянувший даже до ста лет. Вот вам другое умножение. Другая арифметика. — Выражение лица тюремного врача стало напряженным. Он в упор глядел на какую-то точку. — Я живу один в этом доме, но на крыльях воображения я облетаю все моря и континенты. За один час я испытываю столько радостей... страданий, сколько Гарпагон, владелец одной страсти — скупости, пережил за семьдесят лет. Вот вам, мосье Веригин, моя арифметика бессмертия.

— Довольно! — вскричал я. — Вы врач, натуралист, а рассуждаете, как метафизик. Ведь я совсем не о том. Я мыслю конкретно. Речь идет о реальных годах. Календарных. Рафаэль... Моцарт!.. Да они и до пятидесяти лет не дожили! А им да и каждому человеку надо бы жить действительные, календарные тысячелетия. Понимаете? Тысячелетия...

Доктор Лорен постучал согнутым пальцем с большим перстнем по альбому:

— Эти, что ли, простейшие научат меня, как стать бессмертным? Скажу просто: не хочу быть амебой. Хочу быть самим собой. За мою многоклеточность, за радость жизни природа выискала с меня тысячу лет. И правильно сделала. Смерть — неотъемлемая принадлежность жизни. Должен же я расплатиться за радость мышления и страданий, за радость творчества, за ощущение величия всего своего многогранного существования.

— «За все, за все тебя благодарю я», как написал наш любимый поэт Лермонтов, — съязвил я,

— Нет! За все плачу сполна. Кто заказывает музыку, тот и платит. И все тут! — Доктор шумно захлопнул альбом.

— Хорошо! Не будем говорить о простейших. Не будем говорить о бессмертии. А лишь о тысячелетии, да, да! Почему деревья могут жить триста, четыреста и даже тысячу лет? Секвойя умирает только от бурь и болезней, а старения не знает. История науки свидетельствует, что если природа что-то «умеет», то рано или поздно этому научится и человек. Я, смертный человек, выхожу один на один на борьбу с природой, чтобы вернуть утраченное тысячелетие. Я не верю, что нельзя взять у наших друзей — растений, отдающих нам всю свою плоть, еще и этот последний дар.

Доктор иронически посмотрел на меня:

— И вы знаете как?

Я молчал.

Доктор весело расхохотался:

— Прочитайте нашего «Сирано де Бержерака». Я верю ему: герой произведения Ростана преодолел земное притяжение и побывал на Луне. Повторяю: я ему верю, а в вашу фантазию — нет. Простите, мосье Веригин, но вы говорите не как естествоиспытатель, а как девица из пансиона. Простите! — Доктор привстал и церемонно поклонился.

— Говорите что хотите! Все равно... Но выслушайте меня!

— Хорошо... Я буду серьезен. Слушаю вас.

Я протянул руку к ковру на стене, на котором было развешено оружие:

— Взгляните. Вот нож.

— Вижу, — отозвался Ги де Лорен. — Дамасская сталь.

— Именно. Сталь. И чтоб сталь стала сталью, нужна не только руда, но и углерод. Он приходит к руде и помогает ей стать сталью. Углерод! О! Он великий преобразователь.

— Ого-го! — оглушительно засмеялся доктор. — Вы ищите тот преобразователь, который поможет вам усвоить секрет долголетия секвойи? Так, что ли?

Но тут вошел Сэм и объявил, что все готово к отплытию.

Доктор поднялся с кресла:

— Вот что, дорогой Веригин! Ищите свои целебные травы, лечите больных, но поиски этого преобразователя, говорю вам, тщетны. Они не помогут отыскать тысячелетнюю жизнь... Стойте! Не перебивайте меня! Вам угодно видеть

человека бессмертным. Вы не хотите смириться с тем, что и камни седеют, и вот эта сталь ножа устает. Вы говорите: найду преобразователь, а с ним люди обретут тысячелетнюю жизнь!

Он с силой хлопнул по альбому:

— Слова, слова, слова! Вы говорили об углероде. Верно: без углерода-преобразователя не будет стали. Но человек — не руда. И преобразователя, так сказать, «углерода» для человека вам не сыскать. Тщетно!

Ги де Лорен увидел мои погрузневшие глаза и положил руку мне на плечо:

— Спуститесь на землю, дорогой искатель! Ваша гипотеза построена на песке... нет, на тени песка, на облаке... нет, на тени облака, на дыме от огня... нет, на тени от дыма.— Он продолжал серьезно и доброжелательно: — Мой милый доктор Веригин, вам трудно сейчас. Понимаю. Но что поделаешь! Не считайте, что вы на правильном пути. Берите посох, идите дальше. Желал бы я, чтоб вы нашли «углерод» для вашей стали, что зовется человеком.

И он поднял бокал:

— Счастливого пути! И да здравствует поиск!

ВОТ ОНА, ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА!

*Эти записи сделаны
на пути во Францию*

Дневник Веригина

Весла ударили по воде. Лодка поплыла.

Тягостно потянулись первые часы плавания. Сначала по реке Морони, а потом вверх по течению какого-то притока Морони. Его названия не запомнил.

Знавал я разные дороги — и лесные, и шоссейные, и широкие, пыльные, посаженные по обеим сторонам то березками, то елками, и речные — на паромах и баржах. Но то была Россия. Родина. А теперь в чужой стране я плыву по неведомой темно-желтой тропической реке. Она мрачна, тягостна. Глядя на воду этой реки, я невольно вспомнил нашу Каму. Кама светло-коричневая, в предвечернем свете перламутровая. Кама серьезна и сурова. В энергии, в движении нашей Камы я всегда чувствовал живую жизнь, а в стремительном движении Морони я увидел силу мрачной безнадежности.

Глухо и плотно стоят по берегам живые стены тропического леса. И казалось, что не берега, а вот эти стены леса то сдавливают с двух сторон реку, то отпускают ее. На моих глазах идет непрестанная война меж водой и лесом.

Никого! Никого! Никого! Только обезьяны-ревуны, цепляясь хвостами за ветви деревьев, свешивались над нашей лодкой, гримасничали, кричали, хохотали. Только попугаи, раскрашенные на все лады, изгибали свободно и мягко свое тело на лианах и бросали нам вслед свои картавые, сухие и резкие восклицания.

Лодка плыла. И мне казалось, что я плыву уже целую вечность.

Берега с зелеными стенами леса то теснили реку — и она рвалась, шумела, металась, мучилась, то расступались — и воды тихо катили вдаль.

Тяжкий сумрак, сумрак души моей, навеванный отповедью Ги де Лорена, не рассеивался. Одна лишь светлая надежда утешала меня: скоро я увижу человека, ради которого я приехал в Гвиану. И ему помогу.

Лодка плыла...

Вокруг нас были джунгли. Хмурые, полутемные, переполненные возгласами, плачем, воем животных, острыми криками птиц и шорохом змей...

И вспомнился мне разговор двух матросов, слышанный в приморском кабаке в Гавре.

«Ты не говори, что мы, французы, хозяйничаем в Гвиане», — поучал молоденького юнгу рыжебородый пожилой боцман.

«Я хорошо знаю: край подчинен французам, голландцам и англичанам», — не сдавался юнга.

«Э-э-э, пустое. Там хозяйничает она — желтая-прежелтая госпожа».

«Какая еще госпожа?»

«Госпожа Малярия. И помощников у нее видимо-невидимо. Не счесть: ядовитые змеи и рыбы-скаты. В Гвиане тебе, конечно, захочется купаться. Войдешь в реку Морони — тут к тебе незаметно подплывает скат и наносит удар».

«Зубами?»

«Хвостом».

«Вот еще!»

«Да. Бьет током. Электрическим. Верная смерть. А еще есть рыбы по имени пирайя...»

«Ну и что?»

«Далеко, очень далеко эти быстрые рыбки чуют царапинку или ранку на теле человека. И чуть ты войдешь в воду с легкой царапкой на теле — испытываешь удивительные радости. Этот внимательный народец, эти пирайи, сразу же густой стаей подплывут к тебе. Набросятся и начнут тебя терзать! Они уничтожают любое раненое существо в воде».

«Занятно...»

«Безусловно! А мухи, которые откладывают в теле человека яички, из которых...»

«Еще и мухи хозяйничают в Гвиане?»

«Правят Французской Гвианой, конечно, французы,— с насмешкой сказал боцман.— А скафы? Мухи? А змеи? А малярия... Нет, не французы, а все эти твари вместе с малярией—подлинные хозяева Гвианы. Главный город Французской Гвианы — Кайенна. Мокрый, душный ад — вот что такое Гвиана».

Да! Так говорили моряки в кабачке...

Вдруг Сэм круто повернул лодку к берегу.

— Сэм! Куда ты поворачиваешь лодку?

— К берегу! — вскричал Сэм.

— Ничего не понимаю!

— Оглянитесь, доктор!

Я оглянулся и за кормой совсем близко увидел морду ягуара. Он почти касался борта нашей лодки.

Резкий взмах весла — лодка чуть не врезалась в берег. В этот миг мимо нас проплыл ягуар. Он даже не плыл, не двигался сам... Что за загадка? На лице Сэма отразились испуг и отвращение.

Следуя течению, бороздя реку в разных направлениях, двигался ягуар. Временами он порывисто дергался. И вместе с судорожными движениями уходящего ягуара я увидел отчаянные взмахи хвоста крокодила. Показалась спина крокодила. А вот ягуар скрылся под водой. Через миг ягуар снова на поверхности реки, позади него — отчаянные взмахи хвоста крокодила.

«И плен и погильель, — подумал я. — Понимаю: ягуар уж не оторвется от крокодила».

Верно, было так. Крокодил вышел на берег. Охотился за черепахами... Неожиданно из-за деревьев выскочил ягуар. Миг один — он на спине крокодила. Крокодил рванулся к реке. Поплыл. Нырнул. Ягуар попытался оторвать

свои когти от спины жертвы. Напрасно. Слишком глубоко засели, слишком крепко вцепились они в спину животного. Крокодил нырял снова и снова. Напрасно. И скоро ягуар стал мертвой ношей... Так и будет крокодил плыть по реке со своим мертвым врагом на спине, нырять, вылезать на берег, снова бросаться в реку. Все напрасно. Не отцепиться, не отвязаться живому от мертвого.

Вскоре ягуар, увлекаемый крокодилом, исчез за выступом берега.

Мы молча поплыли дальше.

«Вот она, Гвиана!» — подумал я.

ГДЕ ЖЕ ФЕЛИКС РАМО?

Дневник Веригина

На рассвете мы благополучно миновали пороги. Вошли в спокойную протоку. И вдруг на повороте я увидел — из воды растет небольшой лесок. Это был островок, густо заросший деревьями.

Лодка подплыла. Сэм выскочил на берег и крикнул, указывая в глубь острова, в непроходимую чащу:

— Он там, мосье доктор!

Мы вышли на едва заметную тропку. Пройдя по ней шагов двести, очутились перед глухой плотной стеной леса, обвитой лианами. Я занес топор — рубить лианы. Но Сэм схватил меня за руку.

— Это его дом! Мы пришли. Он здесь.

Держа меня за руку, негр ввел меня в хижину.

В темноте кто-то тяжело и глухо вздыхал.

Я достал из сумки свечу, зажег, поднял ее и увидел: на листьях и ветках лежал человек под рваным одеялом. Лицо его, смертельно бледное, с легким желтоватым оттенком, носило следы тяжелого страдания. Рядом с больным на корточках сидел на земле старик индеец и не сводил глаз с больного. Когда я поднес свечу поближе к больному, индеец пристально и безнадежно посмотрел на меня.

— Рамо! — вырвалось у меня. — Рамо! Феликс Рамо! — повторил я.

В ответ тихий, долгий вздох. Молчание. Я поднес свечу совсем близко к лицу больного и сказал:

— Здравствуйте, Рамо. Я привез хину. Буду лечить

· вас... Привез я вам и материнский привет из города Пелисье.

Больной с трудом повернул голову:

— Я не Рамо,— и закрыл глаза.

«Он в беспамятстве»,— подумал я и тихонько потряс больного за плечо:

— Опомнитесь, Феликс! Очнитесь! Вот музыкальный альбом вашего детства, вот чулки, связанные руками вашей матери. Вы слышите меня, Рамо? Феликс Рамо! Отвечайте же!

Вдруг я услышал тихий возглас. Слов не разобрал. И низко наклонился к больному.

— Я не Рамо!— услышал я невнятный шепот.

«Бредит»,— решил я.

— Сэм! Скорей согрейте воды. Я приготовлю напиток больному.

— Я не Рамо,— отдельно повторил больной,— меня зовут...

— Ну... ну... говорите же!

— Я есть Чеслав Ян Ржевусский,— по-польски внятно произнес больной.

— Да, так его зовут,— сказал негр Сэм.

— Что же это такое?— воскликнул я.— Куда меня привезли?

— Так приказал барабан, мосье,— ответил Сэм.

— Барабан? Но...

— В Кайенне доктор приказал мне везти вас к белому человеку, который болен малярией. Все сделано как надо, мосье.

Больной вдруг о чем-то заговорил быстро и глухо, приподнялся и со стоном откинулся на свое жалкое ложе. Заметался.

Я забыл о Рамо. Спасать, скорее спасать этого тяжело-больного человека!

Весь день я не отходил от него.

После приемов хины и горячего питья больной немного успокоился. А вечером заснул.

Мне было не до сна. Какая нелепость! Что это? Ошибка? Или тюремный врач умышленно заслал меня в лесные дебри? Зачем? Где же Рамо?

Голова моя раскалывалась на части.

Я вышел из хижины.

И сразу со всех сторон обступила меня гвианская ночь.

Ее чернота придвинулась к хижине, облепила и поглотила тонкие стены и потолок. Бессонная, она спустилась на джунгли с их светящимися в черноте ночи ядовитыми грибами, гигантскими яркими бабочками, с муравьями-листорезами, чьи стройные полчища пробираются по лесу, преодолевая любые преграды, с лианами, которые и днем в полусумраке, и в черноте этой ночи душат деревья, высасывают из них живительные соки.

И вспомнился мне ягуар, вцепившийся когтями в спину крокодила.

Злоба и отчаяние... Эти два слова пришли мне в голову в ту бессонную гвианскую ночь.

Злоба и отчаяние? Да! Они — господа этих мест.

Где-то далеко за хижинкой, за протокой, слышался беспокойный глухой несмолкаемый гул реки. Иногда из джунглей сквозь ночные звуки и шорохи прорывался надрывный вой хищников.

Злоба и отчаяние!

А в двух шагах от меня бредил в тяжком сне Ржевусский.

Нет, не пришлось уснуть мне в ту гвианскую ночь. Я смотрел на кусочек неба над хижинкой. Оно было усеяно яркими, чуть-чуть трепещущими звездами.

Но где же Феликс Рамо?

ПАН РЖЕВУССКИЙ

Дневник Веригина

Время шло.

Я томился, маялся: застрял в джунглях — ведь не мог же я покинуть больного человека! Ржевусский подчиняется мне как врачу, но все время молчит. Он «беглый человек». И не может быть, чтоб он ничего не слышал о Рамо.

Сегодня я снова выбрал момент, когда больной не спал, и (не в первый раз!) спросил:

— В кайеннской тюрьме содержался каторжник. Он был осужден за то, что отказался воевать во французских колониях. Его звали Рамо. Феликс Рамо. Вы слышали о таком?

— Феликс Рамо! — повторил больной. На его лице мелькнула тень улыбки. — Да, да..,

— Где он?

— Не знаю.

— Может быть, он бежал?

— Не знаю... Не думаю: французская стража стреляет метко. — И Ржевусский утомленно закрыл глаза.

«Ясно, он что-то знает, но мне не доверяет, — подумал я. — Но пройдет день-другой... все равно я все узнаю».

И вот настал вечер, когда мой молчаливый больной заговорил.

— Что делать? — тихо шептал Ржевусский. — Нет мне покоя на этой земле. Вы, пан Веригин, приплыли и лечите меня. А разве рану в сердце исцелишь? Край родной, никогда не забуду тебя! Я вижу тебя во сне и наяву. С грохотом падают здесь тропические ливни, разверзаются небеса, а я слышу, как в оконце моего домика в деревне под Ченстоховом мелко постукивает теплый частый весенний дождик... И так во всем: я смотрю на этих крикливых пестрых птиц, а вижу аиста, который стоит на одной ноге в своем гнезде на колесе.

— Как вы очутились здесь, пан Ржевусский?

— Я был студентом Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге... Ах, пане Веригин! Когда-то я был молод, строен, красив, горяч. Шел 1830 год. Польша поднималась против царя-поработителя и его жандармов. Я бросил академию, вернулся в Польшу. Стал повстанцем. Но восстание было разгромлено. Я скрылся. Изменил внешность: искусный парикмахер сделал меня седым стариком. Я работал в имениях столяром. Назывался Максом Зенгером. Поднимал народ. В деревнях меня знали. Не выдавали. Но была облава. Проверили: Макс Зенгер? Посмотрели паспорт. Приказали: отпустить. Но на всякий случай две недели продержали в тюрьме. Тут и случилась беда. Мои темные волосы, борода, усы стали отрастать. Седой старик Зенгер начал превращаться в молодого человека... Что делать? С каждым днем я сам себя приближал к виселице. А когда надзиратель пришел, чтобы выпустить меня из тюрьмы, то не узнал «старика» Зенгера. Пред тюремщиком предстал молодой шатен с остатками седины на концах волос. Стали дознаваться. Удостоверились: Ржевусский. Приговорили к виселице. Я уже представлял себе свой конец. Друзья помогли. Бежал. Перебрался в Финляндию. Там финны спрятали в трюме французского корабля. Доплыл до Гавра. Потом — Гвиана. И тридцать лет я в этом лесу. А Польша! Как унизили ее царские сатрапы! Я постоянно вижу один

и тот же сон: тысячи окошек в деревьях Польши вдруг раскрываются, и из них показываются исхудалые руки. Они мечутся по всему свету, тянутся ко мне сюда, в Гвиану: «Помоги! Помоги!» Я просыпаюсь, места себе не нахожу...

Ржевусский утомленно умолк. И тут я подумал:

«Он ничего не сказал о Феликсе. Но все же Ржевусский заговорил».

Ржевусский становился все разговорчивее. Все чаще вспоминал свою родину. А мое настроение делалось все тревожнее: ведь я ни на шаг не продвинулся в своих поисках Феликса Рамо. Что мне оставалось делать? Начать с самого начала. И я стал готовиться к отъезду в Кайенну.

Увидев мой приготовления, Ржевусский сказал:

— Вот вы уедете, пан Веригин, а я останусь. Но не думайте, я не один: здесь, в лесу, обитает мой друг из Польши. И когда в душе моей смешиваются хаос и мрак (я уже заметил, что Ржевусский любит такие приподнятые выражения в стиле Гюго), когда ум ищет отрады, а сердце его не находит, я иду к моему другу. И он меня утешает.

— Но вот вы так тяжело болели, почему же друг вас не навестил?

Ржевусский с горькой усмешкой посмотрел на меня:

— Не может. Ходить не может. Только стоять.

«Что это? Еще какой-то несчастный человек? Притом калека?» — недоумевал я.

Приближался час расставанья с Ржевусским. И все сильнее одолевала его обнаженная, острая, неизлечимая тоска по родине.

— Вот вы вернетесь домой, пан Веригин,— говорил он мне как-то вечером, глядя на костер.— Вы опуститесь на колени на родной земле, падете ниц, со страхом и трепетом коснетесь и облобызаете ее. А до меня даже ветер не долетит с родной стороны. Мне никогда не тронуть рукой снега, такого морозного и голубоватого зимой, мягкого и желтоватого весной.

Ржевусский тяжело перевел дыхание и заговорил как бы сам с собой:

— Теперь в Польше осень. Ветер гонит с места на место увядшие листки. Почему же ты, ветер, не залетишь сюда, не унесешь меня, свой высохший листок, в родные места — туда, к черным полям, к желтому жнивью... Нет! Не увижу я тебя, мой край. Никогда!

И старый человек закрыл ладонью лицо.
Я старался успокоить его. Но сам не находил себе места — ведь я ничего не узнал о Феликсе Рамо.

ДРУГ ПАНА РЖЕВУССКОГО

Дневник Веригина

Ржевусский выздоравливал.

Близился час отплытия. Сэм готовил лодку в обратный путь.

Ржевусский упросил меня на прощанье сходить с ним к единственному другу, о котором он уже мне говорил.

— Прошу, пане, оказать мне это одолжение, — произнес он с поклоном.

Кто он, этот друг, как он очутился в этом лесу, я не спрашивал.

— Это недалеко, пан Веригин, — уверял Ржевусский.

И мы пошли.

— Почему вы в Кайенне посетили тюремного врача Лорена? — спросил Ржевусский, идя следом за мной по едва заметной тропинке.

— Вам известно имя русского доктора Гааза? — ответил я на вопрос вопросом.

Ржевусский понимающе улыбнулся:

— О! Конечно! Вы угадали. Здесь у нас есть свой доктор Гааз. И вы у него были: Ги де Лорен. Вас надо лечить — идите к Лорену, вам нужно помочь — поможет Лорен, вас надо спрятать от властей — вас спрячет Лорен. Я думал, вы об этом знали.

— Нет, конечно.

Так, разговаривая, мы продолжали путь.

Тесно сходились кроны деревьев. Не было ни солнца, ни неба в этом лесу. Один полумрак, влажный, прелый, с острым запахом гнили от тысяч и тысяч сгнивших здесь растений. Мы шли довольно долго по узенькой тропинке, которую, видно, Ржевусский прорубил и расчистил в чаще леса. Но нигде не было ни признака человеческого жилья, ни следа пребывания человека.

— Не удивляйтесь, пан Веригин. Вы сейчас все поймете. — И Ржевусский светло, радостно улыбнулся. — Скоро придем!

Неистовые запахи прели и гнили одуряли меня. Ноги увязали в мягких, влажных подушках листьев и трав.

Этот вечерний полусумрак, в котором мы шли, эта голубая дымка тумана, весь этот лес без солнца, без неба, которое спрятали переплетавшиеся деревья, спеленатые насмерть лианами... Как жить в таком лесу?

— Вот и пришли,—сказал старый повстанец.—И когда наступит мой последний час, я приду сюда, к моему другу, попрощаться. И рядом с ним закрою глаза навеки.

В самой гуще тропического леса перед нами открылась крошечная полянка. И посреди полянки стояла тоненькая, искривленная белая березка.

— Бедняга! — невольно вырвалось у меня.— Откуда березка в джунглях?

Ясная детская улыбка, освещавшая лицо Ржевусского, сделалась печальной.

— С тех пор прошло тридцать лет,— тихо начал он.— Было раннее росистое августовское утро. Солнце уже взошло. Жандармы уводили меня из родного дома. Я был здоров, силен... Как сейчас вижу... Меня повели по узкой меже. С поля крестьяне увозили в можарах снопы. Они обрачивались и печально глядели мне вслед. Женщины тихо утирали слезы. Я простился с ними низким поклоном. Потом мы перешли на широкий шлях. На дороге меня дождалась телега. На березке возле дороги качались спелые побуревшие сережки. Я поклонился этой березке. Взял с нее семена и горсть земли у ее корней. В маленькой ладанке привез я сюда семена этой березки. Долго трудился в джунглях, расчистил полянку. И вот выросло родное мое дерево, мой друг...

И, словно забыв о моем присутствии, Ржевусский медленно подошел к своему «другу». Легкая тень от ствола легла у ног старика.

Я молча стоял на краю полянки. Глядел на тень березки. И думал о горькой судьбе этого человека.

Вдруг Ржевусский положил руку на мое плечо:

— Пан Веригин, я верю вам. Я понял, что вы за человек. Вы жалеете все живое, вы верите в добро, значит, вы не предадите человека.

— О чем вы?

— Сейчас узнаете.— С этими словами Ржевусский порылся в карманах.— Вот оно. Письмо доктора Ги де Лорена. Его передал мне Сэм. Тайно от вас. Слушайте. «Доро-

гой друг! — прочитал пан Ржевусский. — Вас будет лечить врач Веригин из России. Полагаю, что ему, как врачу, можно верить. Вы, наверное, помните, что Вотрен когда-то послал письмо во Францию, в городок Пелисье, об одном беглом каторжнике. Не покажется ли вам уместным, что Веригину можно назвать подлинное имя человека, скрытого под псевдонимом Вотрена? Если вы со своей стороны будете в этом согласны со мной, то со спокойной совестью откройте ему то, что я не решился ему сказать: тайну Рамо, ради которого, как мне кажется, он и перешлыл океан с запасом хины».

— Так вы знаете Феликса Рамо? Пан Ржевусский, дорогой! — И я порывисто обнял старого поляка.

— Ой, не задушите меня! — отбивался Ржевусский.

— И столько времени молчали?!

— Простите! Иначе не мог поступить. Пока не поверил вам.

— Рассказывайте скорее!

— Беглый каторжник Феликс Рамо скрылся в лесу, — начал Ржевусский. — Стража тюрьмы составила акт о смерти: пуля навывлет. Тюремное начальство часто так поступает. Такой акт помогает страже защищать себя от ревизорского надзора и от тех взысканий, которые могут обрушиться на здешнее начальство из Парижа. Так вот, беглец, по имени Феликс Рамо, прятался в лесу. Но тюремное начальство никогда бы его в лесу не нашло... Он жил совсем недалеко отсюда, лесной барабан созывал к нему негров и индейцев. И он учил их жить и бороться, защищаться. И в борьбе, добываясь свободы, гордо умирать, если это понадобится. Но это не обреченность, говорил Рамо, а неизбежность. Умереть за то, чтобы народу жить свободно.

— Но где он? Не томите меня!

— У Вотрена.

— Какой-то адский круговорот. Где же этот Вотрен?

— В Кайенне. Вы у него были. Это доктор Ги де Лорен. Наш доктор Гааз. Он прячет Феликса Рамо. И лечит от малярии. Не верите? Взгляните на подпись. — Ржевусский протянул мне письмо.

И я увидел: на листке, написанном рукою доктора Ги де Лорена, стояло: «Лорен-Вотрен».

И буква «н» отлетела в сторону. Совсем как в письме, полученном мадам Рамо в Пелисье.

— Отплываю! — вскричал я и бросился к хижине.

Ржевусский с трудом попевал за мной.
— Сэм! Лодку! В Кайенну!
— Нельзя, мосье Веригин. Лодка не совсем в порядке.
Будет готова завтра утром.

БУМ... ТАМ-ТАМ

Дневник Веригина

Тянется ночь. Гвианская ночь.

Без берегов он, этот океан джунглей. И безбрежна океанская тьма ночи над джунглями.

Задремали до утра одни запахи земли, но под полной луной проснулись другие: удушающий запах перегноя, запах листвы деревьев, сжимаемых лианами, запах непокорных мхов, запахи почек, трав... Все они, влажные и разные, потянулись к небу.

Я не мог уснуть. Тихонько, чтобы не потревожить Ржевусского, выбрался из хижины. Ушел к протоке. Чтобы обезопасить себя, стал разводить костер.

«Скорей бы утро!» — маялся я, глядя на язычки пламени. Незаметно глаза мои слиплись. Я задремал.

И вдруг сквозь сон явственно услышал горький, жалобный плач человека. Кто-то всхлипывает — крик, зов на помощь... Но откуда этот человеческий стон, возгласы? Я вскочил: метнулась тень маленького человека. Что же такое? Я выхватил из костра головню, высоко поднял ее. Мелькнула другая тень. Но я уже понял: то был ягуар. Он загнал на дерево обезьяну. Она вскарабкалась на сук — звала на помощь, металась. Я бросил головню в ягуара. Он исчез. Злоба и отчаяние!

Голоса, одни — полные отчаяния и страха, другие — полные злости и угрозы, снова обступили меня.

Грозный стоял вокруг меня тропический лес. Своими сплетающимися кронами он прятал все, что таилось на влажной, душистой земле, в травах, в ветвях, сдавленных на смерть лианами.

Злоба и отчаяние!

Я подкинул несколько сухих веток в огонь. Костер вспыхнул сильнее.

Река потонула в сизом мокром тумане. И вдруг над лесом стал подниматься круглый оранжевый диск луны. Она, как на белую стену, опиралась на туман.

Огромная, настойчивая, она в упор смотрела на меня. Никогда еще не видел я такой оранжевой луны.

А ночные голося тропического леса так необычны, непривычны и тревожны... Слегка потрескивал костер. И пламя его, боясь помешать звукам ночи, тянулось вверх очень медленно и осторожно.

Душевная мука одолела меня.

Не придумать, не открыть мне никакого преобразователя. Но ведь была, была же догадка! Была мелодия. И рос под нее иван-чай. Лишь бы вспомнить! Еще... еще одно усилие. Преодолеть самого себя — вспомнить ту догадку, что ушла в глубь моей души!

Оранжевый диск луны чуть побледнел. Поднялся над лесом. Костер мой догорел. Погас.

Бам!.. Откуда-то издалека, из глубины джунглей, долетел одинокий звук. Удар барабана. И смолк.

Бам!.. Бам!.. Звук повторился.

И опять все оборвалось. А потом опять лес заговорил.

Бам-бам!.. Бам-бам!.. Бам-бам-бам!.. Теперь звуки были частые и короткие, то высокие, то низкие. У барабана была своя интонация. Торжественность и значительность почувдились мне в частых ударах барабана, в смене звуков, то высоких, то низких.

Я не выдержал. Бросился к Ржевусскому. Разбудил его: — Послушайте!

Бум... там... там...

Ржевусский приподнялся со своей циновки и тихо сказал:

— О чем они вдруг заговорили?

— Кто?

— Индейцы разговаривают. Слышите? Говорит барабан. Стойте! Тс-с...

Барабан умолк. И сразу в другом ритме: та-там... та-там...

— Вслушивайтесь в эти удары, — сказал Ржевусский. — Это человеческая речь. Различайте: тут и гласные и согласные. Тут слова человека в ритмическом изложении.

Удары барабана, то близкие, то далекие, следовали то часто, то редко, то медленно, то быстро. Бум... там... там...

— Слушайте! Я буду переводить язык барабана, — сказал Ржевусский. — «Посмотрите на луну, — начал он переводить. — Вы видите, там на ней кто-то держит палочки на

барабане. Там тоже бьет барабан. Он созывает нас на Круглую поляну к нашему дереву. Оно никогда не умирает. Мы будем петь и плясать вокруг нашего дерева. Будем есть его листья и зерна. Мы будем жить долго, как это дерево...»

Ржевусский переводил тихо, отчеканивая каждое слово. А удары барабана, то короткие, то длинные, то резкие, то легкие, врывались во влажную тьму джунглей и говорили, говорили о своем.

— О! — воскликнул Ржевусский. — Они уже собрались у этого дерева.

— Что за дерево?

— Даже не дерево... скорее куст. Совсем небольшой. И листья у него собраны веером. Ну совсем японский веер. Но не в листьях дело. Тут легенда. Легенда! Будто этот куст никогда не умирает.

Бам... бум... Теперь эти удары звучали так, словно помогали кому-то танцевать.

— Приглашение к танцу, — тихо сказал Ржевусский. — Легенда говорит: если часто под музыку плясать у этого куста, то его семена будут скорее созревать. А знаете, что я видел: черенок этого удивительного куста словно никогда не засыхает. Проходит год, другой... воткнешь черенок в землю — и что же? Растет!

Но я уже не слушал Ржевусского: звуки барабана в моем сознании слились в мелодию, которая внезапно чем-то знакомым отозвалась во мне...

Помню, Ржевусский взял меня за руку:

— Что с вами, пан Веригин? Не причиняют ли вам боль эти удары барабана?

— Хочу туда... К ним...

— Что вы! — схватил меня за руку Ржевусский. — Вам нельзя... Вы чужой... Только со мной.

Но я уже рванул из хижины. Побежал к лодке.

ОЗАРЕНИЕ

Дневник Веригина

Едва дыша от бега, мы с Ржевусским остановились за деревьями. Луна, полная, огромная, очень желтая, резко выделялась на синем небе. Она выплыла из черноты

джунглей и повисла над большой поляной. Совсем круглой. Посреди поляны виднелся невысокий куст. Вокруг него неподвижно сидели индейцы.

Оставаясь в тени деревьев, при ярком косом лунном свете, я все же рассмотрел этот куст. В самом деле: листья его были необычайной формы. Они напоминали раскрытый японский веер, росли этажами. У самой земли листья крупные и широкие. С каждым этажом они становились все меньше.

На поляне там и здесь торчали пни. Видно, индейцы с особой заботой пресекали любую попытку джунглей заглушить куст.

Индейцы пристально, неотрывно смотрели на куст. Заввучала тихая, монотонная песня. Негромкие ритмические удары барабана вдруг сменялись резкими, быстрыми ударами. Индейцы вскакивали и заводили какой-то пляс вокруг куста. Барабан стихал — индейцы снова усаживались вокруг куста.

Луна зашла. На мгновение стало совсем темно. Индейцы сидели неподвижно. Сквозь тьму слышалась только тихая, монотонная песня.

Вдруг небо на поляне просветлело. Высоко в небе рванулись золотые лучи восходящего солнца и пронзили серую грядку легких облаков.

И на первые лучи солнца тихой трелью отозвался барабан. Индейцы поднялись и молча, приплясывая, стали один за другим подходить к кусту.

Они осторожно обрывали края его листьев и жевали их; подбирали с земли ярко-синие бархатистые семена и глотали их.

Небо все больше окрашивалось в розовый цвет. А чуть легли на серые прозрачные облачка густые, плотные полосы солнечных лучей — оглушительно ударили барабаны.

И в эту минуту мне послышался удар пушки... там... давно... в Севастополе.

Солнце залило поляну светом. И я увидел, как заря Эос разметала свои золотые локоны по крымскому небу, над морем, над сосной, над тремя кустами иван-чая. Ураган света захватил меня, залил мое сознание, переполнил сердце. Я словно прошел сквозь светлый столб.

Я НАШЕЛ... НАШЕЛ ту самую МЕЛОДИЮ, под которую рос куст иван-чая. И расцветали его лилово-красные

цветы. Ту мелодию, которая звучала во мне тогда за миг до контузии.

Твердо и радостно я сделал несколько шагов. Вот большой лист куста-веера. Я его срываю. Вот горсть семян, ярко-синих, бархатистых. Я их беру с собой.

Домой!

Разве растения растут под музыку?

Растения и звук...

Вот что пишет по этому поводу газета «Правда»:

«Используя ультразвук определенной частоты, канадские ученые добились ускоренного прорастания 74% семян дикого риса от общей массы зерна, подвергнутой обработке. Обычно для этой цели семена выдерживают шесть месяцев при околонулевой температуре. Предполагается, что ультразвук способствует появлению в семенах мельчайших воздушных пузырьков, быстрое образование и исчезновение которых делает плотную оболочку проницаемой. В результате изменяются водные, воздушные и температурные условия в семенах, и они прорастают».

А вот выдержка из журнала «Техника — молодежи»:

«Растение и музыка

До настоящего времени ученые относились недоверчиво к сообщениям индийских ботаников о стимулирующем влиянии музыки на рост растений. Опыты д-ра Вайнберга из Оттавского университета, многократно повторенные на хлебных злаках, подтвердили это предположение. Звуковые волны с частотой 5000 герц повышают не только всхожесть, но и жизнеспособность растений: «озвученные» злаки энергичнее ветвятся и достигают большего веса, чем нормальные. Благодаря стимуляции из каждого зерна вырастает почти ВЧЕТВЕРО больше стеблей, способных дать колосья. Другая частота — меньше или нет эффекта. Все здесь, по-видимому, основано на явлении резонанса в растительных клетках, которое способствует усилению процессов фотосинтеза и обмена веществ».

Индийская флейтистка Панниах (она же тан-



цовщица, физик, ботаник, доктор наук) и индийский ученый Сингх ставили опыты и доказывали, что подопытные растения действительно росли быстрее под музыку.

Этот эффект стал известен. И был проверен учеными. В качестве подопытных растений были взяты бобы. Для одних бобов исполняли Шопена, для других — лирическую музыку, для третьих — джаз; контрольная группа росла в тишине. Оказалось, что лучше всего росли бобы, для которых исполнялся... джаз.

Панниах провела еще один опыт. В течение продолжительного времени она изо дня в день изучала действие танцев на рост цветов. И что же? Ее подопытные бархатцы зацвели, опередив контрольные на 15 суток.

Итак, допустим, что влияние музыки на жизнь растений — факт. Но почему Веригину пришла мысль, что растение, которое на свой лад отвечает на музыку, отодвинет от человека смерть на тысячу лет? При чем тут продление жизни и неувядаемая юность? Где и как нашел Веригин ключ к будто бы утерянному человеком тысячелетию?

Может быть, все это и стало бы ясным из дальнейших материалов Веригина. Но где они, эти материалы?

Ведь портфель старого Капки исчерпан.

Часть шестая

ПОДВАЛ ЧАЯНИЙ И НЕДОРАЗУМЕНИЙ

ВСЕ КОНЧЕНО! ДВЕРЬ СЕЙФА ЗАХЛОПНУЛАСЬ

Уже поздно. За окном, открытым в маленькую улицу у Москвы-реки, стоит мягкая, легкая, свежая майская темнота. Плотно и навсегда закрыта земля в переулке асфальтом. Но тихий ветер приносит запах почек из Александровского сада и запах воды с реки. Долетел откуда-то

и запах перегной. Давно погасли в окнах огни. И фонари в переулке не горят. И нет на небе ни луны, ни звезды. В тихую темноту ночи врзается гудок проплывающей по Москве-реке баржи. Как всегда, она привезла песок и булыжник. Я знаю: через несколько часов под ясным небом будут к барже подъезжать машины, на борту которых написано: «Не уверен — не обгоняй», «Соблюдай рядность». И пойдет разгрузка баржи.

Но что делать мне этой бессонной ночью? Пора... пора откровенно признаться читателям: все кончено — Веригин погиб.

Я-то знал это давно. С того дня, когда обнаружил на чердаке в Шелковке последние листки. И теперь, когда материалы от Капки полностью исчерпаны и искать больше негде (и нечего!), нет смысла хранить про себя эту горестную тайну.

Веригин погиб... Но не хочется верить. И я все трогаю то один листок, то другой.

Вот на этом листке начертание букв уверенное, с резким наклоном. Это четкая рука заграничного агента царской охраны Святошина; а на том листе — затейливые завитки, следы усердного пера московского доносчика Зимовейкина; а еще вот совсем маленький клочок бумаги — как стремительно летят чуть вверх легкие строки Веригина...

И, наконец, самое горестное запечатлено на газетных полосках. Печатные буквы, полустертые на сгибах листа, и слова: «Под лед ушел».

«В редакцию журнала «Бюллетень естествознания и фантастики»

Уважаемая редакция!

Направляю вам последние документы, заключающие трагическую судьбу Веригина.

Доносы Святошина и Зимовейкина, неоконченное письмо Веригина Порошиным и сообщение из газеты «Московские ведомости» от 21 и 28 декабря 1863 года.

Публикация материалов об искателе шестидесятых годов прошлого столетия Дмитрие Дмитриевиче Веригине на этом заканчивается.

С уважением

Г. Нестеров».

Донос Святошина

*«Милостивый государь!
Георгий Спиридонович!»*

Вы изволили выразить неудовольствие по поводу того, что государственный преступник Веригин в течение ряда месяцев находился вне сферы моего наблюдения.

С первого взгляда такое якобы упущение мое заслуживает Вашего упрека.

Однако же для наблюдения за Веригиным за пределами Европы я не получил надлежащего предписания.

Я же в «исчезновении» Веригина не усмотрел повода для особого волнения. В Женеве, где у меня достаточные связи, я в свое время узнал, что Веригин из Пелисье неожиданно отправился во Французскую Гвиану. Там будто бы наскочил на какое-то удивительное открытие (вот уж Колумб с Владимирки!).

В настоящее время Веригин вернулся в Европу. Сейчас находится на борту торгового судна «Молли», которое с грузом кардиффского угля идет в Гельсингфорс. А это значит, что из Финляндии Веригин проникнет в Россию и в самом недалеком будущем объявится в Петербурге — Москве.

Он возвращается под видом американского коммерсанта с паспортом на имя Эриха Грюна.

Как видите, Ваше Превосходительство, государственный преступник Веригин, едва вернувшись из Гвианы, тотчас же вступил в сферу моего наблюдения.

Итак, Веригин на пути в Россию. В соответствии с этим обстоятельством полагаю, что моя миссия полностью закончена, и, следуя новому поручению Вашему, я на днях выезжаю в Париж.

Однако коммерсант Эрих Грюн, под именем которого Веригин прибудет в Россию, теперь уже не ускользнет от бдительного внимания соответствующих чинов ведомства Вашего Превосходительства.

Ваш покорный слуга

Анатолий Святошин».

*«Ваше Превосходительство!
Благодетель мой!»*

Уповаю, что вспомните меня, раба своего Зимовейкина Терентия, который прежней своей службой показал преданность Вам и устоям святой монархии нашей. И вновь сообщение важное Вам представляю.

Веригин-то, нечестивец, сосланный в места отдаленные, оказывается, на воле и в разных странах пребывал. А ныне в Москву возвращается.

Узнал я это так.

Вчера спозаранку увидел я какую-то женщину на крыльце дома моего квартироснимателя профессора Порошина, на Малом Кисельном переулке, во дворе. Сразу про себя понял: хоть она и русская, но по костюму видно, что птичка эта заграничная. Так вот, ночью пробрался я в квартиру Порошина. И в том самом тайнике, где хранятся у него неисповедимые документы, нашел свеженький листок. Я, разумеется, копию поснимал. И к Вам, Ваше Превосходительство, сию копию препровождаю.

И еще осмеливаюсь просить, Ваше Превосходительство, обратить Ваш милостивый взгляд на слова в письме «посчастливилось мне найти». Ведь не иначе эти слова надо понимать как то, что преступник везет с собой какую-то страшную бомбу.

Господи! И когда уж кончатся испытания, которые готовят злодеи Престолу Российскому!

Да хранит господь бог возлюбленного нашего монарха и весь царствующий дом.

Преданный Вам до гроба, жду приказа,

Зимовейкин Терентий».

Письмо Веригина, переписанное Зимовейкиным

«Дорогие мои Порошины!»

Та, которая вместе с этим письмом передаст мой привет, расскажет все подробности моей жизни.

Но самое важное вот что: случилось так, что я побы-

вал во Французской Гвиане. И там посчастливилось мне найти то, о чем я до сих пор тщетно думал.

Память моя восстановила отнятое контузией. Путь найден. Теперь наступает пора опытов, то есть ежедневные, ежечасные бои с природой на практике. А в родной хате и углы помогают, следовательно... сами понимаете.

Бесконечно счастливый

Ваш Д.

Сегодня мне кажется: дух мой, зрение мое так обострились, что увижу муху на другом берегу океана».

Донос Зимовейкина

«Ваше Превосходительство!

Понеже я получил Ваш приказ продолжать неусыпное наблюдение за домом Порошина на предмет изловления «заграничного гостя», нашего окаянного беглеца Веригина, так с домика порошинского глаз не свожу. Денно и ночью стерегу, себя не жалея. Даже кушать мне подносят на окошечко, у которого я наблюдение веду. А над воротами самолично фонарь привесил для ночного освещения. Мышь пробежит — и ту угляжу. А вот Веригин не приходит. И сколько ни стараюсь — нет его, и всё тут. Неужто усердие мое все зря пропадает?! И куда он подевался — одному богу известно. Я уж и на картах загадывал. Но вся карта какая-то чудная выходит: словно в дом мой сам придет. Так что на господа бога упование возлагаю. На его всевышнюю помощь и милость. На бога надеюсь, но сам не плошаю в меру моих сил.

Вашего Превосходительства покорный слуга

Зимовейкин Терентий».

Вырезка из газеты «Московские ведомости» от 21.XII.1863 г.

«Происшествия за последние дни.

Гибель в проруби.

19 декабря с. г. между десятью и одиннадцатью часами ночи титулярный советник Дормидонт Кузьмич Любезников, проживающий по Большой Якиманке в собственном доме, совершал по предписанию врача перед



сном свой вечерний моцион. С ним, как обычно, была на поводке собака его Кир.

Проходя по набережной у Александровского сада, собака Кир стала тянуть поводок и рваться к реке. Дормидонт Кузьмич, не препятствуя собаке, последовал за ней. Вскоре собака Кир стала усиленно лаять и копать снег возле проруби посреди реки. Под снегом у едва затянувшейся ледком проруби были обнаружены: бобровая шапка, шейный платок, портфель, одна меховая перчатка, часы карманные серебряные фабрики «Мозер». Дормидонт Кузьмич, имея в виду, что вещи эти найдены совсем рядом с открытой прорубью, пробитой во льду, заподозрил что-то неладное. Презрев свой сон и отдых, он направился в якиманский полицейский участок. В результате сделанного полицией осмотра и обследования на месте нахождения вещей выявлено, что оные принадлежат господину Эриху Грюну, 27 лет, приезжему из Лондона, коммерсанту.

В портфеле оказались:

а) паспорт на имя коммерсанта Эриха Грюна, американского подданного из города Чикаго;

б) железнодорожный билет от Петербурга до Москвы;

в) счет гостиницы «Хаммамс» в Кувент-Гардене (Лондон);

г) записка от одной иностранной дамы, имя которой мы, по понятным причинам, не упоминаем, с назначением встречи «по важному делу» у церкви Григория Неокесарийского, что на Большой Полянке, напротив Полянского рынка.

Очевидно, уходя под лед, несчастный цеплялся за края проруби, лед подламывался, и тщетны были усилия человека сбросить с себя тяжелую зимнюю одежду. И остались от погибшего только шапка, шейный платок, перчатка и портфель.

Полиция принимает меры к отысканию трупа».

Газета «Московские ведомости» от 28 декабря 1863 года

«Происшествия за последние дни.

На прошлой неделе в нашей газете мы уже сообщали, что на снегу у проруби, что за стеной Кремля, неподалеку от угла Александровского сада, возле проруби на Москве-реке, напротив Софийской набережной были обнару-

жены вещи, а также документы, свидетельствующие о том, что оборвалась жизнь некоего Эриха Грюна. После принятия соответствующих мер полицейских несколько ниже по течению Москвы-реки, у Яузы, был извлечен труп неизвестного утопленника. Произведенное установление личности показало, что Эрих Грюн — лицо подложное, а под лед ушел беглый ссыльный Веригин Дмитрий, возмутитель существующего государственного порядка. Поелику Веригин, в свое время студент университета, постоянно бывал в доме профессора-хирурга Порошина, полиция пригласила последнего осмотреть труп. На вопросы полиции Порошину: «Кого признаете вы в этом утопленнике?» — последовал со стороны Порошина ответ: «Признаю в нем Веригина Дмитрия Дмитриевича, который слушал у меня лекции по анатомии».

Как видно, боязнь преследования заставила преступника бежать по льду и второпях угодить в прорубь, припорошенную снегом, где он и поплатился жизнью.

Итак, дорогие читатели, вот урок революционерам, которые дерзновенно поднимают руку на извечный всемогущий утес империи. Путь их жизни идет к проруби. Не порекомендовать ли всем тем, кто восстал на престол, искать дорогу не к проруби, а прямо направиться с повинной в палату нашего правосудия».

Итак, Веригин погиб... И с его гибелью кончилась слежка агентов в России и за границей. Прекратились доносы на того, кто, как говорится в одном из сообщений, поднял руку «на утес Российской империи».

Вот и нам приходится расставаться с ним.

Я с грустью кончаю публикацию этих пожелтевших за сто лет листков. Подлинники придется сдать в архив. Но трудно мне сразу расстаться с ними: я свыкся с этими листками, они как бы живые для меня. Я был невольным свидетелем злоключений Веригина. Как долго разделял я с ним его мечты и поиски!

Вот как кончилась история благородного искателя... Как исчерпалась его жизнь... Так и не завершил он того дела, ради которого вернулся на родину.

Еще и еще раз перечитываю дневники Веригина. Вижу, что человек, запечатлевший в них быстрым, неровным почерком свои мысли, как будто приот-

крыл завесу величайшей из тайн человечества. И если бы он не погиб...

И о мучительном поиске ума Веригина, о его трагической гибели я думаю с новым волнением. Сто лет прошло с тех пор. Где же другой искатель? И когда, когда же человек подберет ключ к тому несгораемому шкафу, где на миллионы, миллиарды лет природа спрятала отгадку тайны жизни и смерти человека...»

НЕЛЕПОЕ ВИДЕНИЕ ЦАРСКОГО СЫЩИКА ЗИМОВЕЙКИНА

Письмо, полученное редакцией журнала
от ученицы 8-го класса «Б»
Гали Ласточкиной

«Уважаемая редакция! Так жить нельзя! Вот был в прошлом веке Кибальчич. Он был молодой изобретатель. И его казнили. А если бы его не казнили, то ракеты начали бы строить уже давным-давно. И теперь люди уже были бы на других планетах.

В вашем журнале я прочитала описание жизни Веригина Дмитрия Дмитриевича, который взялся сделать жизнь человека длиной в тысячу лет. Он задумал великое дело и вдруг — утонул! Так что же это такое? Так нельзя! Постарайтесь понять меня.

Когда я была в пятом классе и читала былины про Илью Муромца, я не хотела верить, что он погиб. Смотрела я два года назад фильм «Чапаев». Видела, как он утонул, но поверить в это тоже не хотела. И я уже пятый раз хожу в кинотеатр Повторного фильма, все смотрю «Чапаева» и жду: вдруг окажется, что Чапаев не утонул, а добрался до берега и вновь скачет, ведя в бой свои отряды. А год назад я смотрела фильм «Кто вы, доктор Зорге?». Вышла я из кинотеатра и думаю: не может быть, чтоб Зорге погиб! Мне дали книжку, из которой я узнала, как Зорге, сто раз в день рискуя жизнью, помогал Советскому Союзу. Ведь знаю — Зорге был казнен. И все же я еще два раза ходила на этот фильм. И оба раза, когда фильм приближался к концу, мне хотелось подбежать к экрану и шепнуть: «Тебя, Зорге, выследили! Скрывайся! Возвращайся в Советский Союз!»

Но и Чапаев погиб! И Зорге погиб! А вот теперь в жур-

нале вы рассказываете, что и Веригин утонул... Не знаю, был ли на самом деле Веригин. Возможно, что автор списал его образ с другого человека, который бросил сто лет назад вызов смерти.

Но я не хочу согласиться с тем, что Веригин утонул. Вот почему я прошу редакцию — все равно, был ли Веригин на свете или не был, — но прошу (только, пожалуйста, не смейтесь), придумайте и получше расскажите про то, как Веригин хотя и утонул, но не утонул. А остался в живых и продолжал свое дело. А то жить так нельзя, когда хорошие, нужные люди погибают.

Неужели нет каких-либо следов или материалов о Веригине?

И этот вопрос я буду задавать редакции еще много раз. Придумайте что-нибудь...

*Ласточкина Галина,
улица Решетникова, дом 10, кв. 7».*

Мой ответ на письмо Гали Ласточкиной

«Дорогая Галя!»

Редакция журнала переслала мне Ваше письмо.

Мне понятен Ваш порыв.

Назло трагическому концу Чапаева и Зорге Вам хочется увидеть продолжение жизни этих замечательных героев. Но что поделаешь!

Такова жизнь.

Вы просите: «Придумайте и получше расскажите про то, как Веригин хотя и утонул, но не утонул». Рад бы придумать, но сделать это не позволяет мне старая газета «Московские ведомости» от 21 и 28 декабря 1863 года.

Понимаю. Научный поиск Веригина, его смелая попытка удлинить человеческое бытие на земле и сделать людей вечно юными заслуживает самого сердечного Вашего внимания...

Но ничего здесь, Галя, не придумаешь. Ничего не поделаешь! Веригин погиб. Но борьба за долгую жизнь человека продолжается и в наши дни. Многие учёные у нас и за рубежом хотят ограничить власть смерти над человеком.

Тут я вспоминаю Бунина:

«Жизнь, может быть, дается единственно для состязания со смертью, человек даже из-за гроба борется с ней».

И в Вашем, Галя, воображении, и в памяти, в сознании миллионов людей продолжает жить и Чапаев, хоть он и утонул, и Зорге, хотя он и казнен.

Вы спрашиваете, нет ли еще каких-либо сведений о Веригине. Есть, весьма отдаленные, и не столько о нем, сколько о доносчике Зимовейкине, в свое время выследившем Веригина на Рождественском бульваре. Этот материал таков, что может только вызвать смех. Прочтите это нелепое признание царской ищейки Зимовейкина, и Вы убедитесь, что публиковать такой «материал» не стоит. Знаю, что разочарую Вас, но вынужден это сделать, чтобы избавить Ваше воображение от чрезмерной пылкости.

Не опубликованное прошение Зимовейкина

«Ваше Превосходительство!»

А прибегаю сейчас я к вниманию Вашего Превосходительства, потому как теперь только что такое приключилось, что чище сказки про Бову Королевича.

Снизойдите в последний раз до моего откровения. Уж получил я одно внушение от Вас, когда все на ворота глядел порошинского дома, а преступник в то время за благо для себя посчитал пойти под лед посредством утопления.

А теперь прибегаю к Вам с нижайшей просьбой. Разрешите мне, грешному, на время прервать свое усердие престолу и монархии и уйти на моление в Киево-Печерскую лавру.

Особая оказия заставила меня помыслить о душе, презрев мирские дела. Не в порядке у меня с головой, видно.

Приключилось со мною вот что.

Как всегда, достал я ключик из-под двери и вошел тайно в кабинет профессора Порошина. Просмотрел книгу с двойным дном. Ничего не нашел, поставил оную на место. Потушил свечу. А в окошко луна светит. И вижу: передо мной, скрестив руки, стоит утопленник Дмитрий Веригин. Я перекрестился — сгинь, нечистая сила! И на цыпочках устремился прочь. Пришел к себе, еле отдышался. Затеplил лампаду перед иконой святой богородицы и соб-

рался принять сон. Вдруг стук в окошко. «Кто там?» — спрашиваю. «Эй,пусти, хозяин, согреться надо». — «Ступай себе с богом», — ответил я. И тогда в дверь пошел стук. Я зажег лампу, взял кочергу. А стук все пуще, прямо ломится в дверь. И решил я кочергой проучить бродягу, чтоб не смущал сон честных людей. Приоткрыл дверь. Занес кочергу. И увидел самоутопленника! Стоит, руки скрестил на груди. «Я за твоей душой пришел», — говорит... Упала моя кочерга. Лампа из рук выскользнула. А самоутопленник, он растаял в темноте.

Как я жив остался, не пойму.

Ваше Превосходительство! Сам понимаю, что все это причудилось. А все же о душе своей подумать надобно. И посему прошу меня уволить на время. В лавру пойду, грехи замолють. А потом опять за дело с чистой душой возьмусь. И до всякой точки дойду. Лишь бы утопленник мне сам больше не показался.

До гроба Вашего Превосходительства верный слуга
Терентий Зимовейкин.

Итак, дорогая Галя, надеюсь, что мой ответ удовлетворит Вас. До свиданья, Галя. Желаю кончить школу на «отлично» и поступить в вуз».

(Подпись)

ВСТРЕЧА С ИЛЬМЕНЕВЫМ

С крыши Большого театра летит во всю мочь четверик лошадей, запряженных в легкую колесницу. Где-то там высоко, в темно-синем небе над театром, слышится ее легкий звон. И отдается топот конских копыт. Юный Фазтон крепко и спокойно стоит в колеснице. Он уверенно правит лошадьми.

Я поспешно сошел с автобуса.

В руках у меня пропуск на три лица. В Большом новая постановка балетного спектакля.

Ярко-желтое солнце медленно шло на запад. Туннель на площади Свердлова не длинный. Я спустился в этот неглубокий туннель. А выйдя из него, снова получил в дар и великолепное закатное солнце, и колесницу с Фазтоном.

— Нет ли лишнего билета? — слышалось совсем рядом со мною.

— Нет ли лишнего билета? — спрашивали меня разные голоса.

Легким движением головы я отвечал: «Нет... нет...» А сам пытался вспомнить, где читал или когда и от кого слышал, что в какой-то стране в древности отрицательное движение головы означало согласие. А в Болгарии и сейчас...

Но тут я стал присматриваться к Фаэтону. Конечно, ваятель его изобразил в тот самый миг, когда кони рванули с места. Отец Фаэтона, Гелиос, разрешил ему покататься по небу в солнечной колеснице, но приказал не слишком приближаться к Земле.

Как уверенно и крепко стоял Фаэтон в колеснице!

А потом... Потом кони мчались все быстрее и быстрее. Колесница слишком низко пронеслась над Землей, и все на ней запылало: леса, поля, реки. Фаэтон не удержал коней. Растерялся. Выронил вожжи. А Зевс, спасая Землю, в гнев поразил Фаэтона молнией.

— Нет ли лишнего билета?

— К сожалению, нет!

Солнце заходит.

Иду мимо театрального подъезда с его могучей колоннадой. До начала спектакля еще минут пятнадцать... Случайные реплики, возгласы. Голоса звучат то с улыбкой, то с легким возбуждением. Время идет. Все нетерпеливей взгляды тех, кто ожидает запоздалых друзей и знакомых.

У подъезда тревожно шагали девушки и юноши — неперменные посетители всех премьер, смелые театральные «правонарушители» — гроза билетных контролеров. Они самые требовательные и горячие ценители искусства. Тут свои разговоры.

Но слушать некогда, время истекает.

Я поднялся по ступенькам театра.

— Нет ли лишнего билета? — кинулся ко мне молодой человек в белых брюках и пестрой рубашке. Маленькая борода, блестящие глаза, стремительные движения.

Я поколебался: хотелось иметь спокойных соседей. А этот?!

— Я приехал в командировку, — начал незнакомец, — уезжаю завтра на Колыму. — Он смотрел на меня жалостливыми глазами.

Я сунул руку в карман за пропуском.

Юноша увидел мой жест. Смущился:

— Простите! Я, кажется, напутал... Я аспирант. Моя фамилия Савушкин. Живу в Москве, в общежитии педагогического института. Я, собственно, не о себе, хочу провести на спектакль своего руководителя темы — вот он внизу под деревом ждет меня, видите?

А вокруг нас уже образовался целый кружок жаждущих попасть на спектакль.

Савушкин просительно прижал руку к сердцу. Я смягчился.

— У меня пропуск на три лица, — сказал я Савушкину, — так что и вы, если хотите... Пожалуйста!

— Спасибо, конечно! Сергей Тимофеевич! — Савушкин сделал пригласительный жест и скромно отошел в сторону.

Неторопливой легкой походкой подошел к нам невысокий худощавый человек. Седые виски, пестрая тубетейка, просторная бархатная куртка, какие носили художники в конце XIX века. Загорелую шею обрамлял ослепительно белый отложной воротничок.

— С кем имею честь? — поклонился подошедший.

Я назвал себя.

— Ильменев Сергей Тимофеевич. Премного благодарен за любезность.

Я взглянул на часы. Еще рано. Достал сигареты. Предложил Ильменеву.

— Благодарствую. Не курю. Мои живые экспонаты не позволяют. А спички при себе держу. Всегда.

С этими словами Ильменев быстро вынул коробочку и зажег спичку.

— Вот это коробочка! — восхитился я, различив на ней рисунок и надпись: «Наш ответ Чемберлену» — спичечная коробочка двадцатых годов! И подумал с душевным волнением: «Какие исторические вихри веяли над тобой, когда держал тебя в руках художник, сын своего века... А минуты горести или радости, когда твой владелец зажигал спичку... Какие руки держали тебя, какие ветры тушили огонек твоей спички?..»

— Я биолог, а по страсти — собиратель-коллекционер, — сказал Ильменев. — Вот вы пригласили меня в театр, а я приглашаю вас к себе в Ухтомск, в свой подвал. Подвал чайный и великих недоразумений.

— Как вы сказали?

— Повторяю — я собиратель. Там у меня вы столкнетесь не только со спичечными коробочками. Станете свиде-

телем горестных недоразумений великих умов, их столкновений с обществом, с эпохой, с природой. Вот, например, что вы скажете о Марате?

— Как «что»? Деятель Французской революции.

— Вы еще многого не знаете.

С этими словами Ильменев вытащил из кармана своей бархатной куртки пачку библиотечных карточек, порылся в ней и протянул мне одну:

— Вот, читайте.

На карточке стоял № 38. И я прочел: «Марат, великий деятель Французской революции, знаменитый «Друг народа», был врачом и физиком. Написал в свое время работу (она получила премию Руанской академии): «Определить степень и условия, при которых можно рассчитывать на электричество при лечении болезней».

Итак, Марат предвидел, что в будущем появится новое направление в медицине — «электромедицина».

— Любопытно, спору нет,— сказал я.— Приеду непременно.

Ильменев протянул мне карточку с адресом:

— Известите. Я вас встречу.

Раздался звонок, и мы вошли в театр. Отыскивали три места в шестом ряду, сели. Партер постепенно заполнялся зрителями.

— Повезло мне! — услышал я оживленный голос. — Принимаешь, друг, ведь всего на три дня в Москву приехал, а мне билеты достали! Быть в Москве — и попасть в такой театр! А в котором часу спектакль кончается? Мне еще на Центральный телеграф поспеть, разговор у меня заказан на двадцать три. Поспею?

Меня словно что-то толкнуло: а не сегодня ли у меня междугородний разговор? Опустил руку в карман. Вот она, квитанция заказа. Так и есть! Сегодня в двадцать тридцать. Забыл! Вызвал к телефону Вильнюс и забыл! Скорей домой.

Торопливо простившись с Ильменевым и Савушкиным, я помчался к выходу.

«Вот незадача! — упрекал я себя.— Не посмотрю спектакль...»

Я кинулся к Малому театру: такси... такси...

Но какая очередь на такси!

ПОДВАЛ ЧАЯНИЙ И ВЕЛИКИХ НЕДОРАЗУМЕНИЙ

Было почти темно, когда пригородный поезд остановился на минуту у тихой платформы. Ильменев сердечно пожал мне руку.

— Теперь перейдем через железнодорожное полотно,— сказал он.

Через пять минут мы остановились перед небольшим ампирым особнячком — четыре традиционные колонны и дорический портик с причудливым гербом.

Ильменев постучал в маленькое оконце подвала.

— Это, как бы сказать, рабочее помещение «музея». Из подвала лестничка ведет в дом,— пояснил он.

Оконце приоткрылось. Мы увидели женскую фигуру со свечой в руке:

— Пожалуйста, входите, Сергей Тимофеевич.

Спустились в подвал.

— Удивляетесь свече? — спросил Ильменев с легкой усмешкой. Некоторые мои живые экспонаты очень консервативны и не признают изобретения Яблочкова — Эдисона. Похоже на чудачество? Что поделаешь: ведь люди привыкли приклеивать каждому коллекционеру ярлык чудака. А на деле он сам приклеивает ярлыки к своим неживым экспонатам и... к тем из живых, кто заслужил.— И он взял из рук женщины свечу.— Мою кунсткамеру можно рассматривать и днем и ночью,— сказал Ильменев.— В этот вечерний час дневные звери, птицы и цветы засыпают, а ночные — просыпаются. Не угодно ли взглянуть?

— Время позднее, Сергей Тимофеевич. Мне хотелось бы поскорей посмотреть на пресловутую картотеку.

— Согласен.

Держа свечу в руке, Ильменев вел меня по длинному подвальному коридору.

— А теперь, пожалуйста, наверх... Осторожно, здесь ступеньки,— предупредил он.— По ним — к цели вашего приезда: в «алхимический» кабинет.

— Позвольте... — остановил я Ильменева.— Тут на двух дверях странные надписи: «Кабина недоразумений» и «Кабина самоучек». Самоучек?

— Вот именно. Не должно забывать людей великих чаяний — самоучек,— мягко сказал Ильменев.— Мой аспирант Савушкин тут как-то выразился: «Самоучки... без высшего образования... вроде недомерков»,— передразнил



Ильменев тонким голосом Савушкина. — Ну я ему «пояснил». Вот вы, Савушкин, приехали ко мне сюда по железной дороге. А кто изобрел железную дорогу? Самоучки — Черепанов и Стефенсон. Вы ночью зажигаете электрическую лампочку. Так извольте не забывать, что был на свете самоучка Эдисон. А когда вы берете в руки яблоко, не забывайте самоучку Мичурина. Отправляя телеграмму, вспомните самоучку Морзе. Вы изволите проходить курс науки в вузе — ваше счастье! — так не предавайте же забвению Кулибина, Ползунова, Шалыпина, Горького — все они, не кончая вузов и не защищая ученых степеней, создавали новую науку и новое искусство. Помните удивительнейшего Владимира Дурова, создателя зоопсихологии. Самоучки! Шапки долой! И благословите Октябрьскую революцию, которая всем открыла двери в университеты и другие вузы... Самоучки создавали великие творения. — Теперь Ильменев обращался уже ко мне: — Это так же верно, как то, что подчас и великие ученые совершали ошибки, над которыми стоит подумать.

С этими словами он приоткрыл дверь, ведущую в «Кабинет недоразумений». Со стен ее на меня глянули портреты Лапласа, Гельмгольца, Араго, Рафаэля, Толстого, Гёте и многих других столь же замечательных ученых, писателей и художников.

— Здесь я работаю. Стараюсь вникнуть в ход мысли и суждений гениальных людей, которые можно квалифицировать как научные ошибки... Почему? Как могло случиться, что замечательный французский физик, знаменитый Араго, создатель многотомных биографий великих деятелей науки, отрицает Стефенсона? Как могло случиться, что физиолог Гельмголец отвергает Роберта Майера, открывшего и доказавшего закон сохранения энергии? Как могло случиться, что создатель «Небесной механики» и «Системы мира» Лаплас сбрасывает со счетов науки и техники Фультона? Почему и как величайший из медиков Листер осмеял Пастера? Почему Лев Толстой не признавал ни Шекспира, ни Достоевского? Вот здесь, в этой кабинке, я и собираю эти любопытные случаи, исследую их. Впрочем, довольно, — прервал себя Ильменев и привычно легко стал подниматься по крутым ступеням.

Я следовал за ним, стараясь не отставать.

Через минуту мы были в маленькой комнате, которая называлась астрологическим и алхимическим кабинетом.

Я разглядывал разные диковинные орудия, приборы, глобусы, реторты, склянки, светящиеся в темноте камни.

— Вот картотека. Она к вашим услугам, — сказал мне Ильменев. — В ней найдете много занимательного, но предупреждаю: за достоверность сведений не ручаюсь. Пришла картотека из брошенного имения, и не понять, то ли составитель верил в нее, то ли забавлялся, то ли черпал из журналов, то ли сам придумывал.

Ильменев ушел.

Перед моими глазами еще стояли портреты великих первооткрывателей, мучеников науки из «Кабины недоразумений», а пальцы уже перебирали картотеку судеб великих человеческих чаяний и отчаяний. Надо подсказать Ильменеву, думаю я, пусть заведет карточку такого содержания: «Веригин Дмитрий Дмитриевич, неукротимый искатель утерянного человечеством тысячелетия жизни. Погиб, попав в прорубь зимой 1863 года».

Я вытащил наугад первую попавшуюся карточку и прочитал:

«Карточка № 89.

Знаменитый Месмер прибыл в Париж в 1771 году. Он утверждал, что «животный магнетизм может скопляться, концентрироваться и переноситься без помощи тел посредствующих; он отражается, как свет».

Да! Занятно! Однако это мне ни к чему.

А что на карточке № 5? Я быстро пробежал по ней глазами: «Легенда о волшебном флейтисте». Город Славск. Вторая половина XIX века. Француз. Был преследуем полицией. Слух: каторжник из Французской Гвианы, исчез бесследно».

«Француз... Гвиана... Каторжник...» — вдумывался я в каждое слово. А что, если это... Рамо? Феликс Рамо? Тогда, быть может, узнаю еще хоть крупицу о Веригине. Ведь перед отплытием в Европу не мог Веригин не побывать у Ги де Лорена, а значит, не исключается, что...

Я торопливо переписал весь текст на свою карточку. Перечитал еще раз.

«Каторжник из Французской Гвианы... Флейтист...»

...Потрескивала свеча. За окном стояла ночь. В тишине этой ночи была какая-то благодать, а у меня на душе было полное смятение. Откуда-то время от времени долетали сюда резкие возгласы попугая, кваканье лягушки и еще какие-то непонятные звуки.

Голова моя горела. Мысли цеплялись одна за другую. Бежали неудержимым потоком. Сердце стучало, как молот. И вдруг: стук... стук... стук... Голоса животных и птиц отодвинулись, и стали все слышнее какие-то стуки. Часы?

О! Я их узнал! То было беспокойное биение разных сердец человеческих... Разное биение... Разное напряжение... Совсем не похожие один на другой стуки. Чьи сердца так стучат? Только сердца людей, уставших в спорах с тайной, которую им не удается отгадать... в спорах с самим собою... сердца отвергнутых изобретателей... Звучала многоголосая fuga разных биений сердца: одни из них были переполнены горечью, другие — надеждой, третьи — негодованием, четвертые — отчаянием. И постепенно из всего оркестра стуков я различил — или мне это почудилось? — совсем особый стук: настойчивый стук одного сердца. Я вздрогнул... Я отличил его: то было напряженное, но уверенное биение сердца Дмитрия Веригина, чей поиск потерянного тысячелетия был прерван, а сам он — забыт.

Ильменев появился со свечой в руке. И я сказал:
— Сергей Тимофеевич! Хочу вас поблагодарить. Не-
обыкновенно интересно.

— Вы это серьезно? Так, значит, не напрасно я пригласил вас к себе?

— Не напрасно! Отправляюсь в Славск.

— Не понимаю. Объясните.

— Простите... В следующий раз... А сейчас мне пора. Прощайте!

И, пожав руку удивленному Ильменеву, я быстро пошел к станции.

Итак — Славск.

Самолет набирает высоту. Летит среди ватных облаков.

Часть седьмая

ФЛЕЙТА ФРАНЦУЗА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙИСПОЛКОМА ГОРОДА СЛАВСКА

Океан. Беспредельный океан болот. И в этом океане затерялся древний городок Славск.

И вот я в райисполкоме.

— Что? Француз в нашем Славске жил в девятнадцатом веке? И удивительный был человек? Не слыхал ничего подобного. И об этом человеке — фильм? — рассудительно и спокойно спросил меня ясноглазый председатель исполкома. — Впрочем... Почему бы в Славске не жить какому-нибудь замечательному человеку? Все возможно — будем судить по аналогии: ведь был же когда-то в Нижнем Новгороде замечательный Кулибин, жил-был в Ржеве Волосков, удивительный химик и часовщик, а в Калуге — Циолковский... Менделеев тоже родом из Тобольска, а не из Москвы. Не место красит человека, а человек — место.

Во время беседы председатель благожелательно, но пристально вглядывался в меня. Изучал.

— Однако вернемся к делу, — прервал он себя. — Зна-



чит, будем искать этого вашего француза. Думаю, вам поможет Савич. Гавриил Игнатьевич. Наш краевед. Энтузиаст. Савичи из поколения в поколение ведут летопись нашего края... Вот вам замечательные люди нашего Славска. Гавриила Игнатьевича в Москве в университете при кафедре истории оставляли, а он: хочу домой, в тот край, который вскормил меня...— Продолжая говорить, председатель исполкома нажал кнопку звонка.— У нас в городе и в прилегающих городах вырастает прекрасная молодежь. Но вот беда: молодежь, уезжая в Москву, Ленинград, Киев и кончая там вузы, не возвращается в родные места. А старики старятся и умирают. И наш гигантский край остается без молодежи. Подростки уже в последних классах начинают мечтать о столице... Хотел бы я убедиться, что фильм о чудесном крае, его истории, богатствах и красотах заставит дрогнуть сердце нашей славской молодежи. И они не будут покидать родные места.— Председатель вторично нажал кнопку звонка.— Так вот, я говорил о Савиче. По окончании университета он вернулся в Славск. Тогда здесь еще гимназия была,

— Гимназия?

— Не удивляйтесь. Купцы наши пожелали, чтоб их чада на их глазах росли и учились. Раскошелились на гимназию. Основательное здание, как крепость. Больше ста лет стоит и еще лет пятьсот продержится. И вот Савич стал преподавателем гимназии. Теперь в этом здании десятилетка. Там же наш Музей краеведения. Хозяин его — Савич... Тетя Феня,— обратился председатель исполкома к вошедшей опрятного вида старушке,— проводите, пожалуйста, товарища командированного из Москвы к Гавриилу Игнатьевичу.

— Пойдемте,— приветливо отозвалась старушка Феня, посмотрев на меня зоркими, внимательными глазами.

Я стал прощаться.

— Да! — задержал мою руку председатель.— Еще два пожелания. Во-первых, осмотрите старинный парк, в котором стоит наша школа и музей. И во-вторых...— Тут председатель почему-то замаялся.— Ну, одним словом, как начнет Савич про болота нашего края говорить, так вы, пожалуйста, без какой-либо прони. Простите за наставление...

— Спасибо, что предупредили. Буду осторожен. Ведь у каждого человека есть свое хобби.

— Пойдемте к Гавриилу Игнатьевичу,— пригласила меня старушка Феня,— через парк и поведу. То-то красоту увидите!

И мы пошли.

И ЗВАЛИ ЕГО ФЕЛИКС РАМО?

Из раскрытого большого окна музея видно: в старом парке высокие зеленые травы то светлеют, то темнеют. Легкий ветер гонит облака. И чуть тень пролетающего облака ляжет на травы, они сразу же, задумчиво качаясь, начинают ждать: скоро ли станет светлее в их чаще. А чуть облако уплывет, травы, тревожно качаясь, ждут: скоро ли снова опустится на них мягкая тень? Колыханье, качанье, касанье...

Я стою у окна музея. Поглядываю в старый парк.

У шкафа с папками стоит Гавриил Игнатьевич Савич, восьмидесятилетний старик, высокий, легкий в движениях; прямой пробор через седые волосы. Он внимательно читает карточку № 5.

— Верно! Все верно: был такой француз. Преподаватель. Примерно,— Савич прикрыл глаза, припоминая,— в 1864—1865 году. Приехал из Санкт-Петербурга. Направлен был N-ским учебным округом.

Какая-то категорическая убедительность была в его интонациях.

— А когда француз был в больнице, из Санкт-Петербурга приезжал следователь по особо важным делам. После допроса в больнице были поставлены часовые. А француз исчез. И тут пошли слухи, будто он беглый каторжник из Гвианы.

«Беглый каторжник из Гвианы?! Ну конечно, это он, Рамо»,— чуть не слетело с моего языка. Но я удержался и только спросил:

— А при чем тут больница, Гавриил Игнатьевич?

— Начну издалека. Как я уже сказал, преподаватель французского языка прибыл в Славск в 1864 или 1865 году: этот француз, не знавший ни слова по-русски и вовсе не желавший изучать наш язык, обладал каким-то чуть ли не сверхъестественным даром преподавания: за полгода гимназисты уже стали между собой понемногу говорить по-французски. И читать в подлиннике кое-что из хрестоматии. Был француз большим любителем природы. Разговаривал с деревьями как с живыми людьми. А однажды в лесу, где преподаватели справляли веселый пикник, он подошел к дереву, погладил его по стволу и произнес по-французски: «Дерево — предок человека».

Савич рассказывал плавно, не спеша. А я томился: скоро ли он дойдет до главного?

— Видели ли вы когда-нибудь горящие болота?—вдруг неожиданно обернулся ко мне Савич.— Скажите, друг мой,— живо заговорил краевед, не ожидая моего ответа,— с чего начинается пожар?

— Неосторожное обращение с огнем?

— Верно! А еще?

— Ну... Гроза, молния зажгла травинку...

— Опять верно... Но знаете ли вы, что болота всегда поступают неправдоподобно? Стоит спокойный, ясный летний день. Ни грома, ни молнии. И ни один живой человек со спичкой или трубкой не был на болотах. Но вдруг ни с того ни с сего болота горят. И тонет все в густом сизом дыму. Болота как бы сами себя зажигают. День, неделю, месяцы не стихает пожар на болотах. Что же это такое:

самовозгорание? Да! Безусловно... Простите, — резко отвернулся от меня Савич. — Примиритесь с моим недугом. Тут болезнь любви к моему родному городу, выросшему среди болот. Вернемся к нашему французу...

Так вот. Однажды городок наш оказался в дыму горящих болот. Пожар грозил перебраться на Славск — огню помогал сильный ветер. Все население вышло тушить пожар, спасти родной город. В записях 1865 года упомянуто, что «удивительную смелость и находчивость проявил преподаватель французского языка в Славской гимназии, который бесстрашно появлялся в самых опасных местах и с присущим смелому человеку хладнокровием давал точные указания, как побеждать огонь, а также и сам принимал деятельное участие в тушении оною». Француз не избежал тяжелых ожогов и попал в больницу. Вот тут-то и начинается нечто таинственное и катастрофическое.

Еще пострадавший лежал в больнице, а в городок наш пожаловало какое-то чрезвычайное лицо из Петербурга.

Разговор важной особы с больным происходил без свидетелей. А когда знатное лицо отбыло из больницы, сразу же и у окон палаты, где лежал француз, и у входных дверей в больницу, и у ворот были поставлены часовые... Когда же на следующий день утром чрезвычайное лицо вновь пожаловало в больницу, оказалось, что француз исчез. Как это случилось, неизвестно, об этом записи умалчивают.

Полиция сбилась с ног в поисках пропавшего. Были сделаны обыски во всех ближних и дальних деревнях. Были перекрыты все дороги — полиция обшаривала каждый воз. Но француз как сквозь землю провалился...

Савич глянул на часы. Спыхватился:

— Извините! Больше не могу. Обещал быть в кружке юных этнографов. Рассказать им о болотах, на которых стоит наш Славск. А главное, хочу предостеречь детей от притворства болот.

— Притворство болот? Не понимаю!

— Это долгий разговор. В следующий раз... Отложим на завтра...

И, торопливо попрощавшись, Савич ушел. Через большое окно музея я увидел, как он ловко и быстро сбежал с высокого каменного крыльца школы. И тогда я заметил его старческую, в складках шею. Но спина его была молодая, уверенная и настойчивая. Он оглянулся и махнул мне рукой на прощанье.

— Гавриил Игнатьевич! — крикнул я ему вслед. — Этого француза, гвианского каторжника, звали Феликс Рамо? Но Савич меня не услышал.

ПРИТВОРСТВО БОЛОТ

— Знаете ли вы, что такое болото? — так встретил меня Савич на следующий день.

— В географическом? В почвенно-геологическом?.. — замылся я.

Но Савич будто не слышал вопроса.

— Никакой Талейран не сравнится в притворстве с болотами! Болото — это прежде всего притворство. Вспомните, какое небо над болотом. Какое солнце. Разве такое светило похоже на солнце? Болото заставило солнце притвориться другим светилом... Не совсем понимаете? Скажу ясно. Болота сделали солнце каким-то непонятым небесным телом, что светит на землю сквозь густую белесо-пепельную пелену с едва заметным голубым отливом. Солнце хочет пробиться сквозь сизую болотную пелену на небе и стать солнцем — светить как надо. Не получается. Не выйдет! Болота вмешались в жизнь солнца.

Захочет болото кого-либо погубить — и обернется изумрудным лугом. Этаким зеленый радостный лужок с весело пестреющими цветками. А ступит кто на этот лужок — вдруг нет этого луга. Есть только страшная болотная поддонная сила, и она-то втягивает, всасывает все живое в недра свои...

А какую игру заводит болото с человеком в ночную пору!

Вот густая тьма опустилась на болото... Ночь. Спит болото, укутавшись в одеяло из крошечной тьмы. Спит? Как бы не так! Расставило огоньки и ждет: не появится ли на ее тропинках прохожий. Появился. И тут болото начинает свою игру с прохожим. Огоньки молчат, стоят на месте. Ждут прохожего. А чуть он поближе подойдет, они то пропадут, то вдруг появятся. Пляшут перед ним. То вдруг спрячутся за его спиной. Конечно, по науке здесь все просто: человек двинулся по болотной тропинке — движение воздуха гонит, перемещает болотные огоньки. Это болотный газ горит.

Да! Так-то так! Ум, конечно, понимает. А у меня вот

однажды на зыбкой такой тропинке сердце заколотилось, когда болото ночью затеяло со мной игру. Сразу растерял все возражения против сказок, выдумок и небылиц нашего болотного края. И душой — не умом, а душой — поверил я в тот ночной час, что болото обдуманно ведет со мной какую-то свою игру.

А знакомы ли вы с березой на болоте? Нет? Так вот, тут уж свой обман: болото заставляет нашу обыкновенную, милую каждому сердцу березу притворяться, расти вверх корнями.

Что это — выдумка? Нет. Правда! Конечно, по науке лесной все объясняется вот как: упало семечко березы на болото. Выросло дерево. Мох в болоте пропитан водой и не пропускает к корням воздух. И дерево стало приспособливаться: корни пошли не вглубь, а стелются горизонтально. Идут годы. Но каждый час, каждый миг длится медленная схватка березы с мхом... Иногда кажется: задохнутся корни березы, не хватит кислорода! Да и мох одолевает березу... все нарастает и нарастает. Но береза не сдается: кончики ее корней, которые стлались горизонтально по поверхности болота, изгибаются, тянутся ввысь к небу, к воздуху...

Поздно вечером я возвращался к себе. Рассказы Савича разбудили мои воспоминания.

Я был еще ребенком. Ночью проснулся. Шум за окнами. Какие-то голоса, тихий говор в избе.

Мама держит свечу, а отец что-то ищет в углу под лавкой. А за окном мелькают огни, фонари. В окошко стучат... Дверь открылась. «Скорей!» — кричат отцу. А он: «Сейчас! Бегу! Только веревку подлиннее найду». Я закричал, заплакал. Мама подхватила меня на руки, выбежала вместе со всеми. Кто-то в темноте причитает: «Тонет! Наш конь погибает!» Кто-то вопит: «Жерди! Ломай жерди из прясла!»

И вдруг в темноте сквозь все людские крики, сквозь женский плач долетело жалобное ржание коня. Болото расправлялось с конем — засасывало. Лошадь под вечер поверила лугу, усыпанному цветочками. Стреноженный конь отделился от табуна — скакнул. А болото мягко и цепко схватило его за копыто. Трясина втягивала коня в свое болотное нутро... Прошло с тех пор уже лет семьдесят, но и теперь слышу это жалобное ржание лошади, которую за-

манила болотная трясина. И пожирала! Потому что болото не насытится никогда! Лошадь звала на помощь, ржала, переставала ржать, опять звала. А ей в ответ отрывисто и надсадно ржали кони, сбившиеся в тесный табун.

«Доски! Доски клади на трясину! Подходи! Кидай оброты! На голову коню накидывай оброты! Жерди подводи... Нет! Не выйдет! Не вытащим! Трясина ходуном ходит... Пропало».

И под прощальное ржание, которое слышно было все глуше, люди молча пошли домой. Мелькали фонари. Тихо всхлипывали женщины, приговаривая: «Нет управы на болото! Его власть!»

Но как же... Как же звали этого француза?

ЕЩЕ ОДНА УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В СЛАВСКЕ

— Так, значит, этого француза, беглого каторжника, звали Феликс Рамо? — первым делом спросил я Савича на следующий день.

— Ничуть. Его звали мосье Пьер.

«Пьер? Мосье Пьер! Странно, — подумал я. — Ведь каторжник из Гвианы — Рамо. Его имя Феликс. Откуда же взялся Пьер?»

— А как фамилия мосье Пьера? — спросил я Савича.

— Фамилия... Его все звали «мосье Пьер»... Фамилию я сейчас припомню. Да! А тут еще загадка: пропало и личное дело француза, и все его документы. По слухам, это случилось в тот же день, когда он исчез из больницы.

— А все же где-нибудь да сохранилась роспись мосье Пьера. В классных журналах, например.

— Классные журналы? — Савич развел руками. — Их нет. У меня уцелели личные дела некоторых преподавателей. Посмотрим на всякий случай.

С этими словами Савич раскрыл створки шкафа, вынул целую кипу папок и стал читать.

— В те времена появился в Славске и стал преподавателем закона божия в гимназии отец Митрофан. Митрофан Кузьмич Успенский. У отца Митрофана — жена, пять дочек, теща, его сестра и еще сестра жены.

Савич с видимым удовольствием перебирал старые папки.

— Читаю материалы, — увлеченно продолжал Савич. — Иоганн Шлезвиг, учитель немецкого языка. Иоганн Петрович Шлезвиг кончил университет во Франкфурте-на-Майне... Поражал горожан Славска точным, аккуратным и размеренным строем своей жизни. Преподавал немецкий, а также заведовал гимназической библиотекой.

— Довольно, Гавриил Игнатьевич!

— Пожалуй. В делах — ничего. А вот легенда есть. По этой легенде француз мосье Пьер в своем длинном черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, по утрам на заре уходил в лес и там играл на флейте.

Савич неожиданно оборвал свой рассказ.

— Припомнил! Фамилия француза была Лорен.

— Пьер Ги де Лорен! — вскричал я. — А знаете ли вы, что в Гвиане был свой добрый доктор, ихний Гааз. Так, выходит, он, тюремный доктор Ги де Лорен, дал свое имя беглому каторжанину Феликсу Рамо. А тот пробрался в Россию и был у вас учителем французского языка.

— Изрядно! — тихо проговорил Савич. — Еще одна удивительная история в нашем Славске.

ПРЕРВАННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Опять в Москве. Только что вернулся с Главного почтамта. И вдруг звонок. Открываю парадную дверь.

— Вам телеграмма. Распишитесь.

Смотрю откуда — из Славска. Подпись — Савич.

Что такое? Читаю еще и еще: «Нашел интересные материалы. Срочно приезжайте. Савич».

...Было уже совсем светло, когда автобус, дребезжа и подпрыгивая по булыжникам, появился на центральной улице Славска.

Автобус подъезжал к гостинице.

Я бросил чемодан в маленьком номере. Наскоро умылся, спешно позавтракал. Через двадцать минут я уже мчался в музей при школе, которая когда-то была гимназией. К Савичу.

Постучал. Старый сторож открыл дверь. Узнал меня. Пропустил вперед:

— Сюда, проходите.

Я очутился в светлом вестибюле.

— Гавриил Игнатьевич приходит всегда в девять часов, — продолжал старик. — А сегодня его доклад в исполкоме слушают. Он допоздна вчера в музее все писал. Сказал — сегодня его не раньше одиннадцати часов ждать. А вы проходите — там учительская отперта. Или в музей, если пожелаете.

Сторож тихо удалился.

Я не спеша шел по длинному коридору. Заглядывал в классы. Еще пахнет краской, олифой, известкой после летнего ремонта. Блестят выкрашенные полы. От стен веет свежей побелкой.

И во всем здании стоит тишина. Никого нет. Пусто? Одиноко? Ничуть. Нет ни ощущения заброшенности, ни пустоты. Все заполняет тишина. Тишина ожидания. Ждут стены — когда же на них повесят карты, картины, диаграммы. Ждут парты — когда за них сядут школьники. Ждут черные классные доски — скоро ли их покроют буквы и цифры, выведенные старательным детским почерком.

Я вошел в учительскую. Опустился на диван.

Нетерпение томило меня. Узнать что-либо о судьбе Рамо — это, может быть, узнать еще что-либо о погибшем Веригине...

Сколько времени? На моих часах 9.30. Значит, ждать еще самое малое полтора часа.

Я уселся поудобнее. Что ж, буду ждать... Я смотрю из широко раскрытого окна в парк. Лето уже в закате. Липы в парке давно отцвели. Но запах лип еще будто бы стоит в воздухе, запах бархатный, с глубоким золотисто-лиловым отливом, густой, добродушный, чуть сонный.

Да! Ведь окна классов школы все лето были раскрыты в парк. И пока липы цвели, запах плыл, все плыл в классы и коридор. Его не пускали запахи крашеных полов, известки, цемента, олифы. Но он шел. Этот запах спрятался где-то в темных углах подвалов, за перекрытиями и стропилами чердака и под корешками тысячи книг из школьной библиотеки.

Но придет зима. Закрутит, завертит февральская вьюга свои снежные хлопья. Шорох снега, вой вьюги, визг пушкинских метельных бесенят... Все кругом белым-бело.

И как неожиданно закружится голова у того, кто случайно в такой день заглянет в подвал, на чердак или раскроет книгу, где спрятался запах давно отцветших лип!..

... Короткая стрелка моих часов подходила к десяти. Телефон, прикрепленный к стене, зазвонил упорно и долго. Вереница нескончаемых звуков. Я взял трубку:

— Алло! Школа. Вам кого?

Голос женщины, молодой, но суховатый, сдержанный:

— Не вы ли приезжий из Москвы?

— Да!

— Ждете товарища Савича?

— Да! Жду Гавриила Игнатьевича. Кто говорит?

— Технический секретарь исполкома. Все переменялось. Не ждите...

— Что такое? Не понимаю.

— Передаю трубку. С вами будет говорить председатель исполкома товарищ Афанасьев.

— Хорошо. Слушаю.

— Товарищ! Случилась беда. — Голос Афанасьева звучал глухо. — Гавриил Игнатьевич Савич... скончался. В старину называли разрыв сердца... теперь называют инфаркт. Но дела не меняет... Доклад не состоялся... — Голос председателя оборвался. — Простите...

В телефонной трубке слышно было прерывистое дыхание Афанасьева. Он, видимо, хотел что-то еще сказать. Не смог. В телефоне щелкнуло.

Что делать? Я бессмысленно ходил взад и вперед по вестибюлю. Машинально вытаскивал телеграмму. Снимал и клал на рычаг трубку телефона. И все не принимал смерти того, кто вызвал меня в Славск! Так ждал, так ждал меня. А смерть распорядилась по-своему.

Не помню, как я вышел из музея. Как добрался до исполкома.

А когда секретарь Лена — с модной прической (лица ее совсем не помню) — отметила число, день отбытия моего из Славска и поставила печать, я почему-то стал ее благодарить много раз и поцеловал ей руку... А она резко выдернула руку и сказала:

— К чему это, товарищ!

До отхода автобуса из Славска оставалось еще два часа.

Напротив райисполкома видна свежая вывеска парикмахерской. Побриться, что ли, перед дорогой...

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ ГОРОДА СЛАВСКА

Легкий взмах белой салфетки над креслом. Широкий, радушный приглашающий жест старика парикмахера.

— Садитесь, я вам рад! Откиньте всякий страх, и можете держать себя спокойно.

Я уселся в кресло.

— Эх! Забыли нынче Апухтина! А я, чуть новый клиент пожалует, каждый раз вспоминаю эти строки про сумасшедшего из Апухтина.

— Я, что ль, по-вашему, сумасшедший из Апухтина?

— Простите! Но ведь эти слова нормальные, добрые... Итак, стричься, бриться, мыть голову, будем молодеть, хорошо!

И старик парикмахер, осмотрев меня внимательным взором, потрогал двумя пальцами кончики своих седых, тугих усов, лихим штопором устремившихся к потолку. Парикмахер стал усиленно мыть руки... А я, глядя на него, подумал: эти усы а-ля Вильгельм II, этот костюм, покроя вольного и широкого, весь облик парикмахера в Славске Макара Ивановича Колокольчикова являет собой как бы картину десятых годов нашего века.

— А вы знаете, сколько мне лет? — спросил парикмахер, приступая к работе.

— Наверное, шестьдесят.

— О нет! «Старая гвардия, император, умирает, но не сдаётся», сказал один генерал Наполеону на поле Ватерлоо. А я, Макар Колокольчиков, владетель семидесяти восьми лет, не сдаюсь старухе старости. Итак, мы начинаем, как поется в хорошо известной опере «Паяцы» Леонковалло.

Парикмахер Колокольчиков облачился в белый халат, тронул рукой мои волосы, поворошил их и задумался; взгляд его стал напряженным и чуть-чуть грустным.

— Пожалуйста! Я жду.

Легкий вздох и тихий голос:

— Ах, дорогой клиент! Стрижка стрижкой, но голову вашу мыть мне придется.

— Два дня назад в парикмахерской аэропорта мне мыли голову.

— Но я обязан... Тут долг... обязан помыть вам голову.

— Долг?

— Да! Долг! Мой долг перед промфинпланом Треста



бытового обслуживания нашего Славска. План есть план! Никуда не денешься!

— Но при чем же тут план?

— Очень при чем! Чем больше расходов совершит клиент, «тем ближе», как говорил Пушкин, «тем ближе к милому приделу».

— Какому пределу?

— К пределу выполнения квартального плана. Так примите же, дорогой клиент, примите участие, помогите мне выполнить план...

— Хорошо. Согласен.

— Макар Иванович! — послышался женский голос из-за тяжелой бархатной шторы, висевшей над проемом двери.

— Слушаю вас, дорогая кассирша Серафима Ивановна. Слушаю, — сказал Колокольчиков, звеня над моей головой ножницами.

— Утром приходила одна гражданка. Говорит, уезжаю в Москву. Хочу, чтоб Макар Иванович сделал мне химическую завивку... Зайдет еще раз... Что ей сказать?

— В шестнадцать ноль-ноль — так и передайте: в шестнадцать ноль-ноль Макар Иванович приступит к работе над ее головой.

Ножницы звонко и неистово звякали, летели на простыню волосы...

Скучая, я протянул руку к одеколону на столе у зеркала.

— Прикажете освежить?

— Пожалуйста!

— Вы вздохнули. Знаю! Вам жаль нашего краеведа Савича. Какое-то сообщение имел. А доложить на исполкоме не успел!

— Поразительно! Вам, Макар Иванович, все известно. Поразительно!

— Что поделаешь! Шестьдесят пять лет у парикмахерского станка... Сколько лиц, сколько встреч! И всегда — близость, близость к голове человека. Мудреные и мудрствующие головы, легкомысленные, тяжелые и еще такие, где ветер сквозняки устраивает! Сколько вас прошло передо мной! Вот вы меня только тридцать минут назад узнали, а я уж два месяца как с вами знаком. Приехали вы по делу о сценарии и стали искать здесь следы француза. Впрочем, не мое беспокойство. Операция стрижки вашей головы завершена. Сейчас помоем голову. Серафима Ивановна, где вы? Таз с теплой водой. Прошу... А затем последует операция бритья. Надо положить на рабочее место кремы — предстоит массаж лица. И нужен еще бриолин и фиксажур для прически.

И Макар Иванович отдернул бархатную штору над проемом двери:

— Серафима Ивановна! Дайте кремы!

Но возглас парикмахера повис в воздухе.

— Странно! Серафима Ивановна! Кассир! Время не ждет! Дайте кремы.

— Ой, беда! — раздался откуда-то издали надрывный голос. — Крысы!

Из-за бархатной шторы появилась пожилая женщина с взволнованным лицом, с горестным движением рук, перебивавших кончики платка, съезжавшего с головы.

— Крысы, Макар Иванович.

— Какие крысы?

— Съели крысы все кремы!

Макар Иванович за голову схватился:

— Крысы! И откуда они только взялись? Эх, была бы у меня флейта нашего учителя-француза, увел бы я крыс!

— Что! О какой флейте вы говорите? — вскричал я с тоской.

— О флейте француза, обитавшего в нашем городе лет сто назад, — спокойно ответил Колокольчиков.

— Позвольте! Позвольте! Я слышал про флейту француза... Так скажите.

— Вы, конечно, помните, уважаемый клиент, — обратился ко мне Колокольчиков, — предание о флейтисте, который спас некий городок от крыс? Обворожил крыс своей игрой, увел и утопил в местном водоеме. Простите, но почему же вас сей музический инструмент так взволновал? Повернитесь. Начнем операцию бритья.

— Макар Иванович, — взмолился я, — что вы знаете...

— Понял! — перебил Колокольчиков, взбивая кисточкой мыльную пену. — Все понятно... Мой внук приехал из Москвы со словом «хобби», что значит увлечение. Страсть. Выходит, что ваше хобби не марки, не этикетки, а флейты. В вашу коллекцию требуется новая флейта. Итак, мое чуткое сердце слышит крик вашего хобби! И даю вам адрес.

— Какой адрес?

— Точный адрес, где вы, пожалуй, купите флейту.

— Какую флейту?

— Вот уж не знаю: альтовая, басовая или пикколо. Но только это вам не простая флейта, а столетняя, то есть древность! Воспламенитесь. Ваша коллекция обогатится редкостной флейтой из Славска.

Я дернулся под простыней: «Может быть, Рамо играл на этой флейте!»

А Колокольчиков намазывал мне шею и говорил:

— Француз пропал, а чудо-флейта досталась его другу, доктору Климову Платону Сергеевичу.

— Он жив?

— Кто?

— Доктор Климов.

— Доктор Климов — это архаизм! Он скончался сто лет назад. А внук его Эдуард Кузьмич, таксист из Москвы, второе лето приезжает в Славск. Дом продает, никак не продаст. Не угодно ли вам купить у него дом, большой фруктовый сад?.. У него же и флейта деда. В наследство досталась. А прозвище его — Обойщик.

- Чье прозвище? Таксиста?
— Да нет же! Деда. Безумного Климова. Доктора... Так и звали его — «Доктор-обойщик». Он то и дело обои...
— Мне нет дела до обоев... до прозвища. А вот адрес таксиста, у которого флейта француза!
— Пушкинская, восемнадцать.

НЕОЖИДАННАЯ ПОКУПКА

Вот и Пушкинская, 18.

Скрипучие, полусгнившие ступеньки крыльца. Рядом с крыльцом — две сломанные скамейки. Дверь приоткрыта в сени. Я осторожно шел по покачивающимся доскам сеней. Они были узкие, длинные. Слева — глухая стена, почерневшие бревна, справа — окна в сад, забытые фанерой. Но кое-где еще остались цветные стекла — желтые, синие, зеленые, красные.

Зелень отцветавшего сада беспомощно и одиноко льнула к этим стеклам. Вот и дверь квартиры доктора. Изодранная обивка. На ней еще уцелели четыре позеленевших медных гвоздика, на которых держалась когда-то дощечка с фамилией доктора.

Я на миг задумался.

Здесь, в этом доме, Рамо под фамилией Лорена встречался с доктором Климовым. Здесь, быть может, найду хоть крупичку из жизни Веригина. Последние слова в его дневнике были: «все вспомнил». Но перед отъездом в Россию Веригин не мог не побывать у Ги де Лорена, у Феликса Рамо. Значит, есть надежда...

Я потянул надломанную деревянную ручку звонка. Раздался долгий дребезжащий звук.

Дверь раскрылась. В проеме стоял Эдуард Кузьмич Климов, шофер московского таксомоторного парка, плотный, крепко сбитый человек лет сорока пяти; сандали на босу ногу, замшевая куртка с длинной «молнией».

— По объявлению пришли? Дом-сад покупать? Иль яблочки нужны?

— Поговорить по совсем иному делу.

— Что ж, раз пришли — так заходите.

Через полутемную прихожую мы вошли в комнату. Она была вся уставлена ящиками с яблоками. В шкафу за стеклом были видны старые медицинские книги и старенький

деревянный стетоскоп. На столе — старинный чернильный прибор.

Запах антоновских яблок смешивался здесь с острым запахом мышиного и куриного помета. И едва я сел на одинокий стул, а хозяин — на порванный кожаный диван, как в комнату спокойно вошли цыплята. Они вошли сюда с присущей им серьезностью и стали разбегаться по углам.

— Вот в Москву вместе с яблоками повезу, — пояснил хозяин и принялся их выгонять.

Я ждал.

«Почему вдруг стало скучно на душе?» — спрашивал я себя. И не находил ответа. Может, все дело в застоявшемся запахе, в этой непроветренной комнате? Может, скука пришла вместе с этими цыплятами, которых повезут в Москву на заклание?

Хозяин вернулся. Я рассказал ему, зачем я пришел.

— Не позволю! — крикнул Эдуард Кузьмич. — Что с того, что дед наш дружил с каким-то шалым французом! И сам ошалел, с ума сошел. Да! И ребята по улицам за ним гонялись, кричали: «Доктор-обойщик!» Но зачем же наш семейный позор в кино выводить? Не позволю!

И с этими словами он резко потянул снизу вверх «молнию»-змейку на своей светло-коричневой щегольской куртке. Как бы зашил себя наглухо. Минутное молчание. А затем он снова повторил, но повторил спокойно, тихо и раздельно, по слогам:

— Не поз-во-ля-ю...

И осторожно, медленно потянул змейку на куртке сверху вниз. Словно расшил себя — открыл для дальнейшего отпора.

И тщетно просил я Эдуарда Кузьмича рассказать о семейной предании Климовых — о флейте французца.

— Такой фильм про вашего деда, доктора Климова, снимет черноту этого прозвища, — доказывал я. — Фильм раскроет суть его поведения...

— Оставьте, гражданин, баюкать своими байками! — отмахивался от моих слов Эдуард Кузьмич.

— Но я поверну сюжет про вашего деда!

— Эх вы, а еще москвич!.. «Поверну, поверну!» Как ни поворачивай, а позор останется. Я думал, вы пришли дом с садом покупать, а он то да се... рассказ... сценарий... флейта французца... Да, мой дед доктор Климов с ума сошел. И баб-

на моя с детьми сбежала от него, как он с французом стал возиться. Из-за этого прозвища мои тетки замуж не вышли — вековушками остались. Никто с обойщиковыми породниться не захотел. Как прилипло это прозвище к нашему роду, так и не отлипнет. Тут, в Славске, считают, что и я псих по наследству. И дом этот тоже обзывают обойщиковым. Потому его здешние жители и не покупают. А вы еще: фильм... экран... А коль начнете это дело, напишу куда надо!

— Но, Эдуард Кузьмич, поймите!..

— Все понял! И знайте: поташу в суд всякого, кто слово пикнет про наш семейный позор!

Таксист мрачно вздернул «молнию»-змейку на половину куртки. Я молчал.

— Вот вы сами сказали, — заговорил он поспокойнее, — в парикмахерской, мол, вам доложили, что деду моему припаяли прозвище Обойщик. Вы думаете как, зря, что ль, народ прозвища дает? Пройдите за мной.

Таксист прошел через одну, другую комнатку и остановился в третьей:

— Видите?

Я смотрел на стены комнаток с болью в душе, с горестным удивлением: чуть ли не на каждой стене — разного рисунка обои... Куски обоев, на которых дети играют в песочек, наезжали на рисунки обоев с тюльпанами и розами. А рядом с этими флористическими узорами лепились обрывки разного цвета в крапинку, в полоску, с золотыми завитушками. На угол одной стены были наклеены газеты, которые, наверное, ждали, скоро ли к ним пристанут обои. Ждали и не дождались.

— Ну как, зря, что ли, деда прозвали Обойщиком? Рехнулся доктор, с ума сошел и стал клеить и переклеивать стены. Родители мои сомневались: может, дед под обои клад какой засунул и потому все клеит? Мать и отец все стены обшарили, обстучали. Какие-то пустые норки находили. Зачем он их делал? Так ничего и не нашли. С тем и уехали. Дом много лет пустой стоял.

И, уходя из комнаты, Эдуард Кузьмич согнутым пальцем сердито стукнул раз-другой по стенке:

— Только всего и осталась одна французова флейта от всей этой кутерьмы. Дед ее берег, будто икону.

Следуя за таксистом, я тоже стукнул согнутым пальцем по стене, и...



...И вдруг вспомнился мне стук дятла в сквозистом осеннем лесу. Рассветное прозрачное холодное небо. Предутренняя тишина. И только стук дятла — гулкий, настойчивый. Дятел стукнет и прислушивается — как ответит ему дерево. Вот он застучал много раз подряд, и звук подсказал ему: здесь короеды! Они уничтожили древесину и превратили ее в труху. Под корой — пустотки, твоя пища, дятел. Долби, стучи, питайся...

— Что вы остановились? — насторожился Эдуард Кузьмич.

Я не ответил. Думал о своем.

Когда я стукнул по стенке, она ответила мне таким же звуком, как сосна — дятлу: долби... стучи... Здесь несомненно кроется какая-то тайна. А может быть, эта тайна связана с Рамо, который называл себя Лореном? И не протянется ли от него нить к Веригину? Нет! Нельзя уезжать из этого дома.

Таксист вопросительно смотрел на меня.

— Я раздумываю, — медленно начал я, — не поселиться ли мне в Славске. Как-никак, а надо писать сценарий. И лучше не в Москве, а здесь — спокойно... Решено! Я поселюсь в вашем доме.

— Меньше чем на год не сдам.

— Согласен.

— Оформить надо соглашение и деньги внести.

— Хорошо.

— Когда переедете?

— У меня в Москве есть кое-какие дела. Ключи от квартиры надо передать родным... И еще привезти сюда кота: я не могу надолго оставлять его у других людей. Через неделю приеду.

— Ну, вам виднее.

— Что ж, Эдуард Кузьмич, прощайте. Извините за беспокойство. Значит, в фильме вашего деда доктора Климова не буду касаться. А вот на память об этой... нашей встрече уступите мне флейту.

— Как — уступить?

— Продайте.

— Что ж, это можно, — согласился Эдуард Кузьмич. — Что ж, флейту продам. Но раз на память инструмент покупаете, так очень не торгуйтесь, не скупитесь на цену. Сейчас принесу.

И таксист ушел.

Я остался в бывшей приемной доктора Климова. Как хотелось мне сразу ж начать стучать по всем стенкам этого дома! Сомнений нет: в этом забытом, запущенном доме доктор, по прозвищу Обойщик, который дружил с Рамо-Лореном, спрятал... А что спрятал? И где?

В комнате по-прежнему остро пахло мышиным пометом и антоновскими яблоками. Ящики с яблоками совсем загромождали всю комнату. Вот-вот надвинутся и вытеснят меня с табуретки прочь из дома на ветхое крыльцо... И глубокая жалость к странному доктору охватила меня.

Какие колеса жизни раздавили этого странного доктора с флейтой француза?

Скорей бы вернулся Эдуард Кузьмич с флейтой! Уйти бы отсюда побыстрей.. И зачем, собственно, мне эта флейта?..

— А вот и я! — воскликнул Эдуард Кузьмич. — Чертова банка закатилась куда-то. Едва нашел.

— Какая банка?

— Жестяная. Ведь флейту доктор в банке жестяной закопал. Получайте этот предмет себе на память... Порядок!

Эдуард Кузьмич стал вытирать крышку жестяной ржавой банки, самой обыкновенной банки из-под монпансье.

— Спасибо,— сказал я и положил на стол деньги.

С тяжелым чувством вышел я из дома доктора Климова, унося с собой банку с флейтой.

Часть восьмая

РАЗГАДКА ШИФРА

ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЕ ПОИСКИ

День первый. Я и кот осматриваем домик

Мой кот, старый Топ, поблескивая глазами, бродит из комнаты в комнату, обходит старые матрацы, из которых торчат пружины, ломберные и угловые столики, простор-

ные кресла. Кот ходит, нюхает, деловито присматривается... И вдруг подбегает ко мне.

«Ах, ты еще не взялся за работу...» — с настороженным вниманием он смотрит на меня снизу вверх.

Мне становится неловко перед котом.

Итак, Топ, мы начинаем! Посмотрим прежде всего, как расположены комнаты.

Иду в прихожую. Кот доволен и следует за мной по пятам.

Маленькая прихожая. На вешалке висит брезентовый плащ старинного покроя, в углу — палка с серебряным набалдашником. В прихожей две двери; одна прямо — в маленькую гостиную, здесь, видно, пациенты ждали, когда доктор их попросит к себе в кабинет, другая дверь из прихожей — в знакомую мне комнату, где был кабинет доктора. Здесь и теперь стоит диван с помятым кожаным сиденьем и потертой спинкой и шкаф. А в нем за стеклом — деревянный стетоскоп и много медицинских книг. Ящики с яблоками увезены, но запах антоновских яблок, смешанный с запахом куриного помета, еще не ушел. В маленькой гостиной мягкие плюшевые кресла, стол, покрытый бархатной скатертью, старенькое фортепьяно с двумя свечами. Из гостиной две двери, одна — в маленькую спальню, другая в столовую. Из столовой ступеньки идут в кухню. Только окна гостиной глядят на улицу, а окна всех других комнат — в сад.

Домик как домик, в обстановке ничего примечательного.

Но всюду, во всех комнатах, кроме кабинета, творится на стенах какая-то несурезица. В одних местах обои сорваны и видна штукатурка, в других местах штукатурка отвалилась и видны неправильные ромбы, образованные дранкой, по которой наносился раствор, в третьих местах выглядывает тес. А еще кое-где обнаженные бревна, между которыми торчит пакля: ею проконопачены были пазы меж бревен.

Да! Недаром хозяину дома дали прозвание Обойщик.

— Кот! Топ! Слышишь, как шумит сад? Осенний вечер давно наступил.

А сад уже ошалел, предчувствуя близость зимы: шумят и шумит и кутается в мокрый влажный туман. Пора! Пора спать, Топ!



День второй. Стук-стук!

«Ты же мне всех мышей разгонишь... Стучишь! Стучишь по стенам...» — заявляет мне кот.

Он шипит, негодует, ходит из комнаты в комнату. Мои стукки сбили его с толку: зачем этот стук и шум?

Прекращаю на минуту выстукивание стены. Наливаю коту в блюдечко молоко. Он лакает, но все время укоризненно поглядывает на меня.

— Пойми, Топ, — виновато говорю я, — я жду ответа от стен: где в них — под обоями или под штукатуркой — доктор, прозванный Обойщиком, что-то прятал.

Я продолжаю. Проходит день. Я стучу... стучу... И вдруг мне приходит в голову мысль: а что, если я сорву обои и еще, пожалуй, буду отбивать штукатурку?

Может быть, что-то спрятано и под штукатуркой. Не беда — потом вновь оклею и оштукатурю.

Надо купить рулоны обоев. И еще у маляров приобрести штукатурную лопатку — «кельму», толстый нож и «сокол». С него буду сбрасывать раствор на стену.

Сказано — сделано. Пошел в магазин, разыскал маляров. Вернулся поздно. Устал.

...Тускло горит под потолком запыленная электрическая лампочка. Но я все рву обои, стучу по стенке, а потом выламываю штукатурку.

Тянется ночь. Шумит за окном сад. Надо бы договориться с садом: ведь после осени и зимы у него будет и весна и лето. И ни к чему шуметь ему, бедовать за окнами и за стеной так без конца, без передышки... А я вот, как ни крути, не нашел еще тайны француза Рамо в стенах этого домика. Стены молчат... А сад за стеной все говорит, горюет, горюет.

Вдруг кот настораживается. За окном в саду какой-то странный шорох. Прислушиваюсь. Подбегаю к окну. Слышу чьи-то удаляющиеся шаги. Резко распахиваю окно:

— Кто там?

Молчание. Тишина. Но чувствую: из глубины осеннего шумящего сада кто-то за мной подглядывает.

Этого еще не доставало!

День третий. Рву... Ломаю... Стучу...

Уже сорвал обои, взломал всю штукатурку в кабинете доктора... Ничего не нашел. Принимаюсь за срывание обоев и взлом штукатурки в той комнате, которая была когда-то маленькой гостиной доктора Климова.

Рву... Ломаю... Стучу... Рву... Стучу.

Вдруг неожиданный резкий звонок.

— Хотите под шелк, хотите накато́м, а двери под дуб разделаем, — не входя в дом, говорит мне молодой маляр. — Зачем вы, гражданин, маетесь? Вам до нашего малярного дела не дойти. Каждый советский гражданин должен свое дело исполнять.

— А откуда вы знаете, чем я занимаюсь?

В ответ легкий смешок:

— Может, по радио нам сообщили!

И тут мне стало весело:

— А-а-а! Так это, значит, вы, товарищ маляр, подглядываете за мной по вечерам из сада? Или вся ваша бригада? По очереди?

Гость сделал вид, что не расслышал меня.

— Не стойте же на пороге. Входите в дом.

— Так вот, хозяин. Вам тут жить, а не мне... Да! Не мне. Кто я такой и чего стою — сами видите. Приду на работу с авторитетной бригадой. Миг один — зашьем все трещины, миг другой — заделаем все выбоинки. А там за обои возьмемся... Домик для вас, гражданин, как кукла будет. Что? Согласны? По рукам?

Но я молчу... Маляр, пожав плечами, уходит.

Запираю двери и снова принимаюсь за работу.

Рву обои, выстукиваю стенку, взламываю штукатурку. Все ищущу... ищущу... Терзаюсь страхом: а вдруг...

В маленьком городке на меня уже подозрительно поглядывают. В домиках уже приподнимаются занавески, и кто-то настороженно смотрит мне вслед.

Вот приехал чудак какой-то, поселился в доме безумного доктора. Никого к себе не пускает. И уж сам, наверное, ума лишился — так, мне кажется, читаю я на лицах людей, которых встречаю в Славске.

И все же тук... тук... стучу я в стенки дома. И прислушиваюсь... И яростно рву обои и уже неистово взламываю не только штукатурку, а и стену. И торчат сиротливо голые бревна, роняя на пол паклю из пазов.

Ах, кот! Ах, мой старый Топ! Почему ты не тот кот, из сказки Перро,— кот в сапогах...

«Ах, уж эти сказки!..— мурлычет кот.— Не пора ли домой? В Москву?»

День четвертый. Почерк Веригина

«Опять! Опять мышей под обоями будешь искать! Ты не так их ловишь. Уймись. Не за свое дело взялся»,— ворчал кот, видя, как я собираюсь орудовать в спальне доктора Климова.

Но почему обои в спальне доктора чем-то отличаются от обоев в других комнатах?

Я пристально вглядываюсь в стены, отхожу, приближаюсь. Ну конечно. Среди пестроты и хаоса полосок, венков, звездочек, крапинок и прочих узоров всевозможных оттенков выделяется один рисунок: на бледно-голубом фоне — дети, играющие в песок. Все куски обоев в спальне доктора Климова разные и по величине, и по рисунку, и по цвету, но дети, играющие в песок, повторяются на разных уровнях, в различных сочетаниях с другими обоями. Нет ли в этом какого-то смысла? Начинаю осторожно стучать по стене.

Почти стемнело, когда я кончил обследование всех детей. В полуметре в сторону, вверх и вниз от них, я обнаружил пустоты в стенах. В пустотах оказались куски ваты, парафина, клочки брезента, обрывок веревок... Видно, в этих местах доктор что-то хранил. А потом либо вынимал, либо перепрятывал в другое место. Пустой тайник заклеивал новыми обоями. А дети, играющие в песок, оставались, как указатель пути к тайнику.

Что же делать?

Короткий осенний день прошел. И сегодня я ничего не нашел. Ничего.

Совсем стемнело. Как вчера, как позавчера, как третьего дня, шумит, все шумит осенний сад.

Отчаянно разболелась голова. Совсем разбит. Больше работать не могу.

Кот прыгнул мне на колени. Ткнул влажный нос в руку, мурлычет.

Неожиданно он метнулся с колен. Я отчетливо увидел: мышь нырнула в маленькую щелку под плинтусом. Кот, затаившись, присел над отверстием.

— Погоди, Топ, я помогу тебе.

Топориком я взломал плитус.

— Теперь сторожи! А я уйду... Лягу.

Нет! Я не ушел. Оторопь меня взяла: под плитусом лежал какой-то пыльный маленький предмет. Я всмотрелся: брезентовый мешочек. Не поверил глазам. Не трогая находки, стал осматривать стену над плитусом. На обоях ярко-красные маки и голубые, с поблекшей позолотой бабочки. Рядом с ними, чуть полее, — косою кусок других обоев. Сквозь темный затек еле проступает заветный рисунок: дети, играющие в песок.

— Понимаю! Все понимаю! — воскликнул я.

Головной боли как не бывало. Отступил на полметра от детей и с силой стукнул обушком топорика по стенке.

От удара кусочек штукатурки над плитусом отвалился, и...

Как сказать точнее?

Я онемел? Застыл? Оцепенел?

Перестал дышать на какое-то мгновение.

Брезентовый мешочек! Один... другой... третий...

Сколько их? Руки не слушались меня, когда я осторожно вынимал их из тайника. Потом долго сидел на краю стула.

Глядел, глядел на мешочки. Не прикасался к ним.

Куда девался огонь, пыл, сжигавший и терзавший меня все эти дни!

Наконец я пришел в себя.

Топ! Милый старый друг! Пусть ты и не тот, что щеголял в сапогах, в берете и в камзоле, пусть ты носишь всего-навсего простую черную шубку — ты все же сказочно помог мне. Не жалею об упущенной мыши. Сегодня же я угощу тебя куриной печенкой — чем хочешь!

Однако — к делу!

Со всей осторожностью я перенес свою находку на стол, непослушными пальцами потянул дряхлую ткань мешочка. Показался ветхий листок... один... другой...

И на стол выскользнули листки, листочки, записки, маленькие сверточки, перевязанные почти истлевшим шнурком. Время, влага, мыши изрядно поработали в этом тайнике. От одних листков осталась бумажная труха, другие рассыпались при первом моем прикосновении. Сохранилась небольшая часть. Но и она была тронута мышами. Я взял один листок. Вгляделся... и замер.

Светила лампа. А я, я не верил своим глазам...

Почерк Веригина! Я узнал бы его из сотни других.

Я так и застыл с листком в руках.

Хаос мыслей взмыл в моем мозгу. Что же это, что? Значит...

Нет! Надо привести мысли в порядок.

Я прошелся по квартире. Долго и тщательно отмывал с рук пыль от штукатурки. Закурил сигарету.

Так, значит, никакой не Рамо, а сам Веригин жил здесь! И легенда о французе с флейтой относилась к Дмитрию Веригину, который скрылся в Славске под видом учителя французского языка. Под фамилией Лорена. Он же — «мосье Пьер»!

ПРОЩАЙ, ГВИАНА!

Уважаемая редакция!

Передавая вам к опубликованию новые материалы — записи Веригина и доктора Климова, найденные в Славске, под обоями, — хочу сообщить, что во многих местах в стенах были пустые норки. Надо думать, что большую часть писем доктор Климов переправил с оказией в Москву. Оставшиеся листки, хотя хранились в брезентовых мешочках под дражкой, но порядком отсырели. Многие строчки, а иногда и целые листки выцвели. Это заставляет меня ряд мест восполнять по-своему.

Особо обращаю внимание читателей вот на какое обстоятельство. В посылаемых листках я не обнаружил ни указания, ни даже намека на то, где же, собственно, скрывался Веригин, где делал свои опыты.

Записки Веригина

Ночное празднество в джунглях на реке Морони. Удар барабана. Он разорвал тишину. Да! Это был барабан в Гвиане. Но я вздрогнул, как тогда в Севастополе, в то памятное утро, когда с моря раздался удар пушки.

А между тем индейцы медленно приближались к заветному растению, протягивая к нему руки. И вдруг...

Вспомнил Севастополь! Все забытое вспомнил!..

...В тот день на крымском небе разливалась заря. Златокудрая Эос разметала свои волосы. Вершина сосны, под которой я сидел, стала розоветь. Я глядел, как свет и тени перемещались по стволу сосны. Думал.

Где-то там, в горах Колорадо, такие же свет и тени скользят по стволу древней конической сосны. И живет она несколько тысяч лет. Природа даровала ей ни с чем не сравнимое долголетие. И все конические сосны, обитатели суровых скал, живут тысячи и тысячи лет. Сила наследственности! А один баобаб жил пять тысяч сто пятьдесят лет — так сосчитал его годы ботаник Адансон в 1794 году. Тысячи лет живет секвойя...

Это в мире растений. В мире животных два-три столетия предел. А человек живет всего несколько десятков лет.

И я, лекарь, на войне в Севастополе, где смерть кругом, не мог не думать о бессмертии, о бессмертной жизни аргентинского дерева омбу или конической сосны из Колорадо и их собратьев по долговечности. Наследственность! Из рода в род передается долголетие баобаба, секвойи, конической сосны.

А человеку природа назначила короткий век.

И в странной горечи я заиграл на флейте. И под звуки моей флейты рос куст иван-чая, распускались его лилово-красные цветы.

Какой таинственный процесс, вызванный мелодией моей флейты, происходил в клетках иван-чая?

В клетках!!

И тогда-то я подумал: а не сходны ли клетки моего организма и растения? И не сможет ли человек жить, как секвойя, тысячу лет, если заставить клетку растения слушать человеку?

Клетка! Клетка тысячелетнего растения должна вернуть утраченную человеком тысячелетнюю жизнь.

Но грохот... удар пушки... разрыв бомбы... Я все забыл.

И слава тебе, восход солнца в джунглях Гвианы, где удар барабана отозвался грохотом разрыва в Севастополе. И воскресла, ожила в памяти мелодия, под которую рос куст иван-чая.

Что еще было со мной в день отплытия из Гвианы?

Припоминаю.

Вернулся из джунглей. Постучался в дом доктора Лорена.

Дверь открылась.

— Здравствуйте, Вотрен,— сказал я, едва переступив порог квартиры тюремного врача Ги де Лорена.

— А! Поздравляю! Наконец догадался, искатель трав Веригин. Еще несколько дней назад у вас была возможность назвать меня этим именем.

— Вы же сами, Вотрен, отпустили меня в джунгли лечить больного Ржевусского.

— И вы об этом жалеете?

— Врач никогда не жалеет, что вылечил больного. Но скажите прямо,— взмолился я,— где у вас спрятан Рамо? Он еще жив?

Ги де Лорен молчал.

— Неужели умер?

Ги де Лорен неожиданно расхохотался:

— Довольно игры. Рамо жив. И он не так далеко отсюда.

Ги де Лорен кивнул Сэму. Негр тотчас распахнул дверь, спрятанную под большим ковром.

И я увидел его. Того человека, ради которого переплыл океан. Увидел я измученного малярией Феликса Рамо, которого спасли в тропическом лесу такие же беглые несчастные люди, как и он, и тайно привезли в дом тюремного врача Ги де Лорена, человека большой души.

— Вы сдали экзамен на честного человека перед джунглями и передо мной, дорогой Веригин. Сэм и ваш пациент Ржевусский были свидетелями вашей человечности. Понятно? А теперь выкладывайте вашу хину. Мой запас для Рамо истощился. Ну же, придите в себя, дорогой Веригин, недогадливый искатель волшебных трав.

Я подошел к постели Феликса Рамо. Он спал.

Слышно было, как тяжело он дышит. Озноб сменился жаром. Лицо Феликса то бледнело, то краснело.

— Вот хины не хватало,— продолжал тюремный врач.— Губернатор, отпуская пакетик хины, тут же посылал чиновников: посмотрите на арестанта, ради которого Лорен требует порошок. Я мог невольно выдать этого беднягу Рамо. Крокодилы его пожалели, стража промахнулась, а я мог невольно выдать его.

Я тронул Рамо за плечо. Больной проснулся. Обвел глазами комнату. Взгляд его остановился на мне.

— Не бойтесь меня,— шепнул я.— Вот. Возьмите.— И протянул старый бархатный альбом.

На лице Феликса отразилось недоумение и напряже-

ние, словно он силился что-то понять. И не мог. И нерешительно протянул руку к альбому с музыкой.

— Рамо, меня прислала ваша мать, мадам Жермен.

— Нет! Нет! Это сон, — пробормотал Рамо.

И, словно в забытьи, стал ощупывать потертый шелковистый ворс на переплете альбома. Глаза его были полужакрыты. Прозрачные, ослабевшие пальцы исхудалых рук трогали, поглаживали, скользили по переплету альбома.

Постепенно лицо Феликса стало проясняться. Он крепко прижал к себе альбом, где были рисунки, сделанные когда-то рукой его отца. Стал бережно разгибать слепившиеся листы альбома.

— Доктор! — Больной приподнялся, сел. — Тут мое детство! Это встреча с детством! Я ничего не понимаю. Объясните мне: что все это значит? Как попал сюда этот...

— Вам нельзя много разговаривать! — прервал больного Ги де Лорен. — На сегодня довольно. Извольте лечь. Завтра все узнаете.

Рамо послушно лег на подушку, не выпуская из рук альбома. И заснул.

На всю жизнь я запомнил счастливое исхудалое лицо Феликса Рамо. Он спал, держа альбом, как ребенок — любимую куклу или плюшевого медведя.

Но надо было торопиться. Шхуна «Лютеция» уходит из Кайенны.

Последние полчаса до отправления я пробыл у Феликса Рамо. Мы простились, как братья. Запас хины я передал доктору Ги де Лорену.

Был вечер.

— Я провожу вас до вашей шхуны, — сказал тюремный врач.

Мы шли и молчали. Боялись нарушить тишину. А на углу улицы, словно сговорившись, остановились и почему-то взглянули на небо. Небо было вразброс усыпано звездами. И я пошутил:

— Вот навести бы порядок на небе.

Мой спутник, думая о чем-то своем, проговорил:

— На небе свой порядок есть, а вот на нашей планете...

Мы сделали еще шаг, другой.

— Не провожайте меня, дорогой доктор... Я дойду до шхуны один.

В ночной тиши явственно разнесся грохот железной цепи, наматываемой на барабан.

— Слышите? Это ваша шхуна «Лютеция» уже выбирает якорь.

Неожиданно его лицо стало озабоченным, и он протянул мне какой-то документ.

Я прочел: «Пьер Ги де Лорен, уроженец Марселя... год рождения...»

— Вы? Мне??

— Угадали. Если понадобится, то Ги де Лорен в вашем лице будет ходить по Москве. — И он весело рассмеялся.

Я обнял его.

— Дорогой Вотрен... — Это все, что я смог сказать.

Лорен похлопал меня по плечу:

— Ну-ну, успокойтесь. Только не делайте в море никаких опытов. А то начнете с помощью ваших растворов превращать капитана в березу, и «Лютеция», чего доброго, пойдет ко дну.

Крепко расцеловав тюремного врача, я побежал к шхуне. Темным силуэтом рисовалась она под звездным небом в океане.

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ В СЛАВСКЕ

Почерк доктора Климова особенно неразборчив. Листы были испещрены затеками и пятнами — на них сохранились лишь отдельные строчки. Больше недели я работал с лупой и восстановителями.

Из хаоса косых бледных букв, перечерков, темных пятен мне удалось извлечь описание последнего ночного прихода Веригина к своему другу в Славске.

Беседа доктора Климова и Веригина (В пересказе автора)

Осенний ненастный вечер в захолустном городке Славске. Квартира доктора Климова. Густые сумерки.

— Моя задача, — говорил Веригин, — отнять у природы спрятанное ею тысячелетие.

— А где же оно спрятано? — спрашивал доктор Климов.

— В клетке растений. Секвойи. Баобаба. Конической сосны. Еще Радищев...

— Какой Радищев? — перебил Климов. — Ты говорил о растительной клетке — и вдруг Радищев.

— Да! Да! Гениальный создатель «Путешествия из Петербурга в Москву» догадался, открыл и сказал: «...растение есть существо живое, а может быть, и чувствительное, но чувствительность сия есть другого рода... хотя в растениях чувствительность не явна... но согласиться нельзя, чтобы обращение соков действовало в них по простым гидростатическим правилам. В них существует истинная жизнь». Так вот, доктор, — продолжал Веригин. — Я научился понимать язык растений. Мне надо было договориться с растениями.

— Договориться с растениями? Как так? О чем?

— О чем? О том, как познать тайну долголетия, которая заключена в их клетке. А как договориться? Очень просто: задавать вопросы и получать ответы.

— Что они тебе открыли?

— Еще не открыли. Но помогут открыть тайну долголетия.

— Скажи: как ты научился понимать язык растений?

— Большой ангиной — чем он полощет горло?

— Известное дело: календулой — настоем ноготков. Но при чем тут это?

— То-то и оно. Возьми у ноготков первый урок языка растений. Я его получил, когда случайно плеснул кипятком на ноготки. И тут я подметил странное движение: цветки стали судорожно открываться и закрываться. Клетки их говорили: «У нас смертельный спазм. Мы умираем». И цветки увяли. Я стал присматриваться к другим растениям. Изучать их язык. И они рассказывали о себе: когда утомлены, когда возбуждены, когда хотят спать, какого яда боятся. Молчаливы и бессловесны они, растения, для тех, кто не понимает их языка. Никто не сомневается, что на миллионы и миллионы лет растения старше животных и человека. И только растения «знают» о всех тайнах Вселенной. Никто никогда не видел мертвым аргентинское омбу. Оно никогда не болеет. Вечно молодое, оно бессмертно. В его клетке сохранена тайна долголетия, которого человек лишен. Освоит человеческий организм его клетку или клетку конической сосны — будет жить тысячу лет. А то и более. Вот я и...

Наступило молчание. Чуть слышно подвывал ветер в печной трубе.

Доктор зажег лампу. Поправил фитиль!

— А ведь славно горит лампа!

— Да, при лампе куда лучше, чем при свече, — сказал Веригин, прислушиваясь к ветру и к мерному долгому стучу дождевых осенних капель о крышу домика.

— Вот закончу опыты с клеткой растений на лягушках... на крысах... на себе... — задумчиво, как бы про себя, произнес Веригин.

— Ты в своем уме? Хватит с тебя крыс, лягушек и головастиков, а себя трогать не смей!

— А врачи — Уайт? Рене Деженет? Бюлар? Клот? Алоис Розенфельд...

— Знаю, знаю. Все они прививали себе чуму.

— Чтоб ее победить.

— И все они умирали...

— Неправда. Рене Деженет не умер. Авось и я не умру. Кое-что я уже подметил: после моей инъекции старая крыса как бы прихворнула день, другой, третий, а потом стала молодеть, седина исчезла, движения стремительные, глаза блестят. Ты говоришь — отказаться от опыта над собой... Растения научились из воды и углекислого газа с помощью солнца создавать свою жизнь. И вот сегодня я беру у растения те его качества, особенности, которые обеспечили ему тысячелетнюю жизнь. Пробую на животных. Проверю: получается, самую малость. Пока. А там... дальше... Нет! От опыта над собой не откажусь!

— Дмитрий! Ты забыл: ведь ты там один. Вдруг неудача... печальный случай... помеха какая-то. Нет! Не позволю. А если все же приступишь к опытам над собой — предупреди. Соберусь в путь. Приеду... Давай пить чай. — И доктор протянул руку к чайнику. — Ох! Чуть не забыл! — вздохнул он. — Получай. — И вручил Веригину пакет с сургучной печатью.

Веригин широко улыбнулся:

— Прислали! Спасибо! Семена! Буду выращивать вечнoживущие растения.

— Всё фантазии твои, Дмитрий! Пей чай.

Наступило молчание. Только самовар, остывая, пел свою песенку. Края фитиля в лампе покраснели. Керосин, видно, был на исходе.

Тихий голос Веригина прервал молчание:

— Доктор! Сегодня, может быть, наша последняя встреча.



— Ты что, Дмитрий Дмитриевич!
— Ничего.
— Понимаю. Ты думаешь об опыте над собой...
— Ведь может статься, что тогда я уже буду не я.
— Так, так. Мало того, что готовишь опыты над собой,— не ждет ли тебя еще иное бытие! Ты— и в то же время не ты. Впрочем, приемлю тебя в любом виде, если к тому времени жив останусь.

Веригин встал:

— Что ж, пора... Прощай, доктор. Спасибо! За все спасибо. И не забудь: в нашем тайнике закопаю последнее, что надо передать в Москву.

— Да, да, Дмитрий Дмитриевич! Спокоен будь. Навещаюсь. Ах, что ж это! — воскликнул доктор.— Я пел все «чай да чай», а накормить тебя не накормил.

— Ничего! За все спасибо... спасибо,— тихо ответил Веригин.— Пора в дорогу.

Дождь перестал. Скользкие доски тротуара колебались, изгибались, уходили в грязь. Веригин шел впереди, ступая очень осторожно. Небо уже начинало очищаться от туч. Показывалась и вновь скрывалась луна.

— Смотри, какое побоище затеяли облака около луны, — сказал Веригин и тут же поскользнулся, но ухватился за частокол. — Каково! «Победитель смерти», а чуть не носом в грязь!

— Осторожно! — забеспокоился доктор.

— Плохая примета, — рассмеялся Веригин.

— Верить в приметы, Дмитрий Дмитриевич?

— Приметы? Их нет, есть только скверные тротуары.

И еще темь и грязь — сплошные происки природы, — снова рассмеялся Веригин и замолк.

Так дошли до окраины Славска.

— Ну, прощай, доктор!

Они обнялись и минуту стояли молча.

Веригин ушел.

Доктор долго смотрел ему вслед. Он слышал, как чавкала грязь под сапогами Веригина. Где-то залаяла собака. Стихла. Ей ответили другие. На все лады. В этой разногласице доктор различил, как одна из собак остро и тонко почти непрерывно лаяла. И этот почти не прекращающийся лай перешел в надрывный вой. Все собаки вдруг замолчали. Прислушивались к вою? А потом то одна, то другая стали подвывать...

Доктор возвращался домой. Он шел медленно, осторожно, осмотрительно. Тротуар по-прежнему был мокрый и скользкий. В доме нестерпимо пахло копотью и стоял керосинный чад. Доктор долго шагал из угла в угол, из комнаты в комнату. На душе было смутно.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Теперь можно прочесть и последние три листка с какими-то стихами. Я их отложил нарочно, как наименее интересные для моего поиска. Веригин, видно, любил стихи. Это, конечно, любопытно, но не так важно.

Читаю. Ничего не понимаю. Какой-то бессмысленный бред. Абсурд. Веригин зачем-то записал отдельные строки из разных произведений Пушкина. И еще цифры поставил возле каждой строки. И всего их пятьдесят две. Что за бессмыслица? То ли человек в одиночестве проверял свою память... Читаю еще. Нет! Никакой внутренней связи. Просто случайный набор строк:

1. В тот год осенняя погода
2. На дровнях обновляет путь
3. Когда не наши повара
4. Им первый кубок круговой
5. Пирует с дружиною вещей Олег
6. Но злобный Карла перенес
7. Меня в сей край уединенный
8. Алеко спит. В его уме
9. А царица вдруг пропала
10. Виденье смутное играет
11. Будто вовсе не бывала
12. Мария, бедная Мария
13. Гости князю поклонились
14. Спокойно все; поля молчат
15. С приветом нежным и немым
16. Стоит черкешенка младая
17. И остров общий с давних пор
18. Худой, обритый — но живой
19. Руслан на мягкий мох ложится
20. Пред умирающим огнем
21. Кто мир и негу возлюбя
22. Быстрее орла; быстрее звука лир
23. Лелеет, милая тебя
24. Прелестница летела, как зефир
25. Но тот блаженный, о Зарема
26. Как розу в тишине гарема
27. Финал гремит; пустеет зала
28. Гроза двенадцатого года
29. Но может быть такого рода
30. Привычка усладила горе
31. И этому я все виною? Страшно
32. Труды мои ты сам оценишь
33. Хвалиться ими не хочу
34. И знойный остров заточенья
35. Но был уж смерти под косою
36. Не пугай нас, милый друг
37. Гроба близким новосельем
38. Напрасно блещет луч денницы
39. Иль ходит месяц средь небес
40. Я вас люблю — хоть и бешусь
41. Мой дядя самых честных правил
42. Они за чашею вина
43. В ее затей не входил

44. Но мрачны странные мечты
45. Олень веселый выбегает
46. В душе Мазепы. На утес
47. Насчет небесного царя
48. Туда, где за тучей белеет гора
49. Что ж полон грусти ум Гирея
50. Скрежеща мыслит Кочубей
51. Песчаный виден островок
52. Сказка — ложь, да в ней намек

15 мая 1866 года

Растерянно перебираю листки. Вот еще какой-то клочок. Пытаюсь разобрать.

«Дорогой мой Платон Сергеевич! — с трудом прочитал я. — Ты все повторяешь, что с тобой может что-либо случиться, и кто тогда отыщет меня в моем уединении. Так вот: перешли эти пятьдесят две строки из Пушкина в Москву Порошиным по известному тебе адресу. Они знают, как их читать, — прочтут и поймут, где меня искать».

«Они знают, как их читать, — повторил я про себя. — Они знают...» И тут меня вдруг осенило: набор стихов из Пушкина — это шифр. Шифр! Веригин, видно, пользовался им в особо важных случаях. Да, да! Это шифр.

А прочесть его я не могу.

ШИФР АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Я снова в Москве. Аэродром. Очередь на стоянке такси. Юссе в лесу. А вот и Волхонка.

Первым делом достал из чемодана листки с набором разрозненных строк Пушкина.

Пятьдесят две строки. Перелистываю трехтомный словарь языка Пушкина. Знаю, откуда взята каждая строка. Но что с того? Как прочесть по ним, где скрывался Веригин? В таких догадках проходит день... другой... Уже разослал свой запрос пушкинистам. Жду ответа. Но никто не звонит, не пишет: один, видимо, на курорте, другой — в санатории, третий — в командировке.

И идет день за днем. И лежат передо мной загадочные 52 строки Пушкина.

Звонок по телефону. Старый знакомый спрашивает:

— Все мучаешься над разгадкой шифра? Сидишь над

непонятными строчками? А помнишь стихотворение Блока «Пять изгибов»?

— Ну, тут просто: ведь сам Александр Блок ясно рассказал об этом в дневнике:

Пять изгибов сокровенных
Добрых линий на земле...—

речь здесь идет об изгибах улиц в Ленинграде, тогдашнем Петербурге, улиц, которые и в наше время называются «линии».

— А помнишь,— продолжал мой собеседник,— Блок хотел вести свой дневник при помощи шифра. Как делал это Данте. «Я задумал,— пишет Блок 28 августа 1918 года,— как некогда Данте, заполнить пробелы между строками «Стихов о Прекрасной Даме» простым объяснением событий». Но шифры у Блока, Данте, Пушкина разгаданы, а ты с чем остаешься?

— Ни с чем. Своей загадки отгадать не умею. Вся надежда на пушкинистов. Вот и жду письма... звонка...

ЗАГАДКА СТАРОЙ ФЛЕЙТЫ

Бессонница... Бессонница. Я весь в твоей власти...

Веки мои отяжелели, не поднимаются, но сон бежит от меня.

Не в силах терпеть муку бессонницы, я поднялся, зажег лампу.

Что делать? Ни читать, ни писать не могу. Чем занять себя? А вот: мой чемодан! Все еще не разобран. И стал вытаскивать измятые сорочки, ненужные галстуки. Вынул банку с флейтой. Стал открывать банку.

Но долголетняя ржавчина въелась и спаяла крышку с банкой. Наконец крышка сорвана. Я взял в руки флейту. Какая она старенькая, эта флейта с трещиной на конце! Куда бы ее положить? Ну конечно, в тот ящик письменного стола, где лежат документы и материалы Веригина. Однако в ящике тесно. И я стал разбирать флейту.

Но что же это такое? Бумажка какая-то. Здесь? В этой флейте?

От волнения я прошелся по квартире. Постоял у окна. Погладил спящего кота. Зажег люстру — все четыре рожка. Наконец уселся к столу. И осторожно стал разворачивать слежавшуюся бумагу.

Что это? Мелкие, очень мелкие буквы... Я взял лупу.

Да это же рука Веригина!

«Дорогой Платон Сергеевич! — прочитал я. — Напомни Порошиным: мое местопребывание отгадывается, как и потаенные стихи Пушкина, через 16».

МАГИЧЕСКАЯ ЦИФРА „16“

Сквозь тяжелые шторы пробивается бледный рассвет. Гремит машина, увозящая мусорные ящики со двора.

Шифр Веригина раскрыт... Раскрыт! Я не мог удержаться от радостного восклицания.

Топ, спавший на краю письменного стола, вздрогнул, вытянул и выпрямил лапки, выпустил когти, но тут же спрятал их и снова задремал.

Как прочел я этот шифр? Как разрозненные строчки из Пушкина, записанные рукой Веригина, рассказали мне тайну его местопребывания?

А получилось это так.

Заколдованный цифрой «16», я ломал голову.

Шестнадцать... Шестнадцать... Пушкин... потаенные строфы... потаенные строфы. Какие это?

Внутренний голос мне подсказал: спроси у Пушкина, где и как он прятал свои крамольные строки.

Я кинулся к полке. Схватил академическое издание Пушкина. Том VI, «Евгений Онегин». Большая книга раскрылась на странице 520. «Десятая глава», — прочел я. А ниже мелким шрифтом написанное слово «шифр». Ну конечно: десятая глава «Евгения Онегина» была Пушкиным зашифрована. За-шиф-ро-ва-на!

«Теперь к делу! — сказал я себе. — Сейчас узнаю, где скрывался Веригин».

Чтоб успокоить себя, я заварил крепкий чай. Уселся поглубже в кресло и в сто первый раз всмотрелся в загадочные 52 строки Пушкина.

Теперь надо примериться к каждой 17 строке — каждый раз отсчитывать шестнадцать.

Итак, семнадцатая... тридцать четвертая... пятьдесят первая.

Все эти строки упорно повторяют одну и ту же мысль.

На 17-й читаю: «И остров общий с давних пор»...

На 34-й — «И знойный остров заточенья»

И, наконец, на 51-й прямо сказано: «Песчаный виден островок».

Вот что должны были прочитать Порошины, чтоб след Веригина и его открытия не потерялись!

Остров... островок... Значит, Веригин скрывался где-то на острове.

Но как же так? Ни морей, ни рек около Славска нет. Только болота и болота. С какого «острова» приходил, или приезжал, или приплывал Веригин к доктору Климову?

Остров на болоте? Возможно ли?

Едва дождался девяти часов утра. Позвонил в Институт болотоведения:

— Простите, извините, но бывают ли на болотах острова?

— Еще бы! Даже партизаны на них жили. И самолеты садились на такие острова.

— Спасибо!

Как же случилось, что я раньше не догадался заглянуть в шестой том академического издания Пушкина! Ведь вот он стоит передо мной в книжном шкафу за стеклом рядом с Бальзаком и Стендалем...

И кто только не виноват передо мной в том, что я не раскрыл десятой главы!

Конечно, во всем виноват ты, телефон. Эти звонки, суета, беготня, трамваи, такси, выхлопные газы под окном, бессонница, перенапряжение сердца, встречи неожиданные и запоздалые, нужные и напрасные.

Я обвинил всех и успокоился. А потом опять взялся за себя.

Хорош я! Хорош! Где глаза мои были? Где?

Итак, скорей в Славск. В болотах около Славска разыскать островок, где жил Веригин.

Самолет деловито побежал по дорожке. Собрал силы и поднялся в воздух. И тут, в самолете, посмотрев на уходящее здание аэропорта, я подумал:

«Да! Да! Всего в «Онегине» восемь глав. Это известно из любой хрестоматии. Есть еще девятая глава, неполная, — «Путешествие Онегина». Она печатается обычно отдельно. Десятая же хранилась непрочитанной чуть ли не полвека в частных собраниях. И только в 1937 году она была опубликована. И ключ к ней

была цифра «16». А открыл это ученый-пушкиновед П. О. Морозов».

Откуда Веригин мог знать об этой «потаенной главе» Пушкина?

Вероятно, Веригин вместе со своими друзьями познакомился в прошлом веке с десятой главой «Евгения Онегина», увидев ее в чьей-нибудь коллекции. Эта крамольная глава, наверно, ходила по рукам в списках. И, наверно, была кем-то расшифрована еще тогда. А может быть, цифра «16» была известна современникам Пушкина с его собственных слов?

Часть девятая

„ДРУГОЙ СПОЕТ ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ“

ПОТАЕННЫЙ ОСТРОВ БЕРЕЖНОЙ

В райисполкоме города Славска я рассказал о Веригине, который был здесь сто лет назад под именем француза Лорена (в Славске его называли «мосье Пьер»). Преследуемый полицией, он, как видно из его шифровки, укрывался на каком-то острове.

Но какой же может быть остров в районе Славска?!

Предисполкома значительно улыбнулся:

— Понимаю ваше недоумение. Сейчас говорить не буду, а вот спешно соберу совещание, заслушаем ваше сообщение. А знающие люди внесут полную ясность в этот вопрос.

И вот что я узнал.

В неоглядном болотном океане вокруг Славска есть много островов. Сколько их? Никто не подсчитал. Их оставил здесь отступивший ледник. И нет ни пути, ни дороги к этим островам. Лишь пролетающим птицам дают они временный приют. А постоянно там живут только крысы да болотные гады.

Но среди этих островов есть один. Особенный. По названию «Бережной». Всего в нескольких километрах от Славска. И на этом острове Бережном жили люди... Никто не

скажет, когда они заселили остров. Может, это было двести, а может, триста или четыреста лет назад. Спасаясь ли от царского войска, или от хищных бояр, или каких других разбойников и тиранов, люди проложили в болотах совсем незаметную тропинку к острову Бережному. Протянули узкую гать к заветному острову.

Сколько труда положили люди! Устилали хворост, в мешках и корзинах приносили песок, забивали сваи, укладывали кирпич, камни, доски.

Так через трясины и торфяники, через «окна» и зыбуны по земле, которая ходит ходуном, на несколько верст протянулась эта потаенная тропа. Шаг вправо от нее, шаг влево — все равно гибель. А мелкий ельничек, черный орешник, худые березки прятали ее от злого чужого глаза.

И только в 1812 году, когда неведомыми путями до острова дошла весть о нашествии Наполеона, опустел потаенный остров. Народ ушел выручать родину, воевать с врагом. Ушел вместе со своими семьями. Держа на поводу коня, а в корзинке курицу или цыплят, они шли гуськом, один за другим по узенькой гати с острова на «твердую» землю.

Наполеона прогнали. Но на остров после войны уже никто не вернулся. И Бережной стал необитаем. А о потаенной тропке все, казалось, забыли.

Тогда, на совещании, я убедился: никто не сомневался, что на Бережном я найду следы Веригина. Но радость смешалась в моей душе с грустью: нет уж на свете краеведа Савича. А ведь он-то, наверно, дознался до тайны острова и вызвал меня телеграммой в Славск. А я опоздал... И вот теперь я один буду искать следы Веригина.

ЯДОВИТЫЕ КНИГИ, КУБКИ И БЕССМЕРТНОЕ РАСТЕНИЕ ИЗ ГВИАНЫ

Под вертолетом, куда ни посмотри, — болота и болота... Но вот и остров. Ледник, отступая, отчеканил его рельеф. Я спустился с вертолета на высокий песчаный обрывистый берег.

Вертолет улетел.

...Если бы в шумный московский день, где за окном гул и грохот грузовых, шуршание легковых машин и гудки, гудки прогулочных теплоходов, через большое раскрытое

окно на третьем этаже глянула с улицы продолговатая морда динозавра с его маленькими глазками, я бы не удивился так, как удивился сейчас лягушке. Прыгнув из травы, она скользко тронула мою руку. Я схватил ее. Она не сопротивлялась. Спокойно сидела на моей ладони. Выпуклые большие глаза неотрывно и без страха уставились на меня. Дышала она сильно и часто, набирая воздух, точно сясь сказать мне что-то важное. Она вела себя так, словно никогда и не видела человека: не пугалась и меня.

Но при чем же тут мое удивление?

Дело в том, что схватил я лягушку потому, что на ее левой передней лапке что-то блеснуло. Я всмотрелся. Кольцо! Плоское кольцо. Я осторожно потер его, и на блеснувшей поверхности стала проступать нацарапанная чем-то острым мелкая-мелкая надпись:

«№ 17, 1866, Вер...»

Вот это сюрприз!

Прошло более ста лет с того дня, когда Веригин сделал эту надпись...

Ты поедешь со мной в Москву, небывалое сокровище, оставленное Веригиным. В Москву! В научный институт. Ты — семнадцатое подопытное животное, воспринявшее наследственный ген тысячелетней жизни, взятый Веригиным у растений. И сколько же их здесь, на этом острове среди болот, таких подопытных существ — насекомых, птиц, крыс?

Заповедный, чудесный остров!

Лягушку № 17 я осторожно опустил в свой емкий портфель, привезенный из Карловых Вар. Устлал его травой. Оставил приоткрытым для доступа воздуха.

Я стоял над обрывом. А внизу — болото.

Надо мной — две сосны, а меж ними — валун, похожий на огромного спящего безрогого вола. Ледник оставил его на память о своем отступлении. Тут же торчат из земли какие-то сгнившие столбы. Возможно, здесь были врыты стол, скамейка, стоял навес.

Раздвинул кусты. И сверху увидел на черном зеркале болота что-то напоминающее гать.

В два ряда растут елочки и березки. Качающаяся трясина. Двадцать — тридцать шагов гать идет по болоту. И вдруг — вода. Гать затоплена.

А что, если еще при Веригине оборвалась ниточка, которая связывала его со Славском, с его другом доктором, со всем остальным большим миром?

Один! Совсем один! Летом и зимой! Чем он питался? Голубика? Клюква? Мед пчел?..

Так думал я, стоя у края обрыва, над гатью, которая тянулась и обрывалась в двадцати шагах от края болота.

Но хватит! Уж очень черна вода болота, затопившая гать. Пора приниматься за дело. Надо осмотреть остров.

Сделал несколько шагов. Сколько здесь, на острове, валунов! И всё — разные геометрические фигуры. Будто ледник, отступая, поглядывал в гигантский раскрытый учебник стереометрии. Ветер перелистывал перед ледником страницы книги, а ледник по рисункам учебника обтачивал фигуры валунов и оставлял их здесь на память о себе.

Я поднялся на самую высокую точку обрыва. Понял: остров полого опускается к юго-западу и там постепенно затопляется болотом.

Осторожно обходя старые замшелые валуны, я увидел несколько развалившихся хат, заросших крапивой, лопухом и кипреем.

«Но где же жил Веригин?» — подумал я. И тут же решил: сначала пересеку остров, а затем обойду вокруг.

Я медленно шел, стараясь запомнить все, что мне встречалось по пути.

И вот на юго-западной части острова, на самом спуске, я увидел довольно странные растения, посаженные через равные интервалы. Они росли в строгом порядке, тянулись шагов на триста — пятьсот, как бы окаймляли одну сторону острова. С листьев одного такого растения рвалась, билась, пыталась улететь стрекоза.

Росынка! Она привлекала стрекозу и теперь не отпускала ее. Росынка собиралась позавтракать стрекозой.

Лента росынок вдруг оборвалась. А через сто шагов началась лента других растений. Вот они стоят здесь, у края острова, в болоте, приподняв свои головки, похожие на кубки... Я читал и на рисунках видел, как эти тропические насекомоядные растения заманивают своим запахом гигантских бабочек, мелких птичек и постепенно их пожирают.

Жители тропиков! Каким чудом попали вы сюда?

А вот и третья маленькая лента. Растения, чьи головки напоминают раскрытые книги. Снова — насекомоядные жители тропиков. «Растения-книги» раскрыты — ждут добычу. Подлетит стрекоза или бабочка, прикоснется к сладкому, пахучему соку — «книга» захлопнется. Она начнет пожирать свою живую жертву.



Растения далеких джунглей! Растения-хищники! И вы были участниками опытов искателя утерянного тысячелетия!

Сто лет прошло! И сегодня у вас, потомки обитателей тропиков, как и у ваших далеких предков, кубки полны яда и раскрыты ваши смертоносные «книги».

Пройдя несколько шагов, я остановился, полный удивления, перед огромными корнями, которые широко и мощно лежали на земле в тени кроны.

Аргентинское омбу! Нет человека, говорят и ученые и мифы, который видел бы умершее омбу. Будто никогда не умирает это дерево. Ботаники рассказывают, что засухи оно не боится, а когда мороз губит его листья, то на смену им вырастают другие.

Скажи, бессмертное дерево, чем ты помогло Веригину в его поиске утраченного человеком тысячелетия?

Несколько поодаль от омбу я увидел растение с веерообразными листьями. Оно показалось мне знакомым. Ну конечно, священное растение из Гвианы. Я сразу узнал его по описанию Веригина. Значит, не зря собрал он лилово-сине бархатистые семена этого удивительного растения.

Однако где же на острове было жилье Веригина? Я вернулся к развалившимся хатам. Солнце уже перевалило за полдень. Скоро за мной прилетит вертолет. А вдруг не прилетит? Не хотел бы я остаться на ночь здесь, где у болот покачиваются кубки, полные яда, и где зловещие «книги», растения-хищники, пребывают в голодном томлении — ждут, скоро ли к ним попадет очередная жертва.

Однако я устал. Сел на бревно. Рука скользнула по длинному прохладному листу какого-то растения. Глянул — и замер: во все стороны (как щупальца осьминога!) распластались по земле листья длиной в метр. И ты, дерево по имени «вельвичия мирабилис», оказалось здесь? Что привело тебя из Африки в нашу страну, на этот островок среди бескрайних болот?

Семь тысяч лет живет секвойя. Но сегодня ученые утверждают: самое долговечное дерево на земле не секвойя, а вельвичия. Здесь, на этом островке, среди болот, твой ствол прячется в земле совсем так, как в Юго-Западной Африке, где он вынужден спасаться от пыльных иссушающих бурь. Сырые болотные ветры трогают, колеблют твои метровые листья, бессмертное дерево. И рядом с тобой обыкновенный наш иван-чай покачивает свои маленькие ланцетные листики.

До свиданья, бессмертное дерево. Иду дальше. Не успокоюсь, пока не найду, где жил Веригин.

„ДРУГОЙ СПОЕТ ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ“

Густые кусты, папоротник, сосенки и сосны. А там, вдали, чернеют стены хаты с провалившейся крышей. «Здесь он жил», — сказал я себе. Остановился. Перевел дыхание. Что-то ждет меня там? Что найду в этом доме?

Вот остаток крыльца. Все заросло травой и кустарником. Крыша хаты совсем провалилась. Лишь местами по краям ее осталась щепка.

Лежит большая тесовая дверь, сорвавшаяся с петель. И высокая бледно-зеленая трава, проросшая меж ступенек сгнившего крыльца, хочет войти в хату.

В сенях полутьма. По сгнившим ступенькам я вошел в сени. Что-то резко ударило меня по ноге. Разглядел — крысы. Дверь из сеней в хату закрыта, а за ней какие-то звуки. Толкнул дверь. Рванул. Приоткрыл. И сразу оказался в

большой, светлой комнате. Рам нет. Сквозь проемы окон свесились в комнату ветки. Они качаются на легком ветру и мерно и часто бьют, ударяются по длинному ветхому столу. Так вот откуда удары, шорохи. Потолок провалился, и одна доска свесилась, уперлась в этот длинный стол. На полу — осколки стекла.

Стою у дверей в каком-то оцепенении. Смотрю: крысы одна за другой бегут вверх, туда — на чердак, и вниз — по доске, которая свесилась с потолка на стол. Там, в углу, — топчан, на нем какая-то ветошь. Остатки одеяла? А на топчане, в ветоши — крысы. Возятся, визжат. Сколько же их здесь, этих крыс?

Тут я вспомнил, что крысы были подопытными животными Веригина. Да! Но сегодня хозяин дома не Веригин, а крысы!

Направо от дверей — большая полуразвалившаяся чугунная печь. На полу у самого поддувала лежит массивная чугунная дверца. Я двинул ногой эту заслонку. Из-под нее показался полуистлевший уголок какой-то записной книжки. Я нагнулся. Протянул руку... С шипеньем из поддувала поползла лента, черно-бурая, с зигзагообразной ярко-черной полосой вдоль спины. Гадюка?! А за нею маленькие ленты с черными полосками вдоль спинок. О! Да здесь целая гадючья семья! Почти как в сказке. В сказке Змей Горыныч охраняет клад. А здесь — гадюка с гадючатами. И если крысы не изгрызли листы, то тут «заслуга» гадючьего племени.

Поднял с пола палку, сдвинул с места чугунную заслонку. Да тут не одна, несколько книжек! Все еще чего-то боясь, схватил одну и другую... Все они грязные, слипшиеся. Но как это они очутились здесь? Забыл ли, оставил ли их на столе Веригин, а ветер, ворвавшийся в проем окна, смахнул их в глубь комнаты? Может быть, так и лежали они у печи, а заслонка сорвалась с петель, упала и прикрыла, сохранила их? А может, он, этот удивительный Веригин, зачарованный тайной бессмертной юности, прятал эти листки где-то тут, в поддувале печи?

А это что?

Нагнулся. Маленькая металлическая коробочка, покрытая красной ржавчиной. Одно мое неосторожное движение — и она рассыпалась на мелкие шершавые кусочки, и в пальцах остался какой-то круглый и плоский предмет. Я бережно освободил его от полуистлевшей бумаги. Фарфор.

Белый фарфор. Перевернул этот предмет, и на меня глянуло лицо, женское лицо, нежное, округлое. Голубые глаза смотрели доверчиво и ласково. Светлые локоны ниспадали на плечи. Белый воротничок на черном закрытом платье. Наташа... Наташа Порошина! Это она... Вот она какая!

Меня охватило волнение. Мне показалось, что на этом портрете я увидел отражение глаз Веригина. «Гляжу не нагляджусь», — вспомнились мне слова Веригина из письма к Наташе. Я не мог больше смотреть на этот портрет.

Бережно, завернув миниатюру в носовой платок, спрятал в бумажник.

Мне не терпелось: скорей, скорей читать! Забыв о крысах, гадюках, охваченный волнением, я подошел к окну и стал рассматривать записные книжки Веригина.

Их было пять. В твердых полотняных переплетах. На внутренней стороне обложки каждой из них были надписи: опыты над крысами № 1—9; опыты над лягушками № 1—20; опыты над куликом, вышью и другими болотными птицами; опыты над головастиками.

Увы! Надписи на переплетах были, а листов не было. Съедены крысами? Мышами?

И лишь одна книжка, пятая, частично сохранилась. Я раскрыл ее наугад.

«...Что бы со мной ни случилось, — прочитал я, — надо, чтоб мои лабораторные записи, записи всех опытов, оказались в верных руках... Если год или два не будет от меня вестей, друзья мои, не заезжая в Славск, придут туда, где я теперь нахожусь. Не застанут меня — возьмут записи... и «другой споет об этом лучше».

Я выбежал на крыльцо, сел на полусгнившую ступеньку. Стал читать все подряд.

ОПЫТЫ... РАЗМЫШЛЕНИЯ

28 мая, 1866 г. Остров Бережной

Записки Веригина

Стоят жаркие дни. Солнце печет.

Каждый день спускаюсь с гати и смотрю: просыхает ли она? Нет! Гать все еще под водой. Хорошо, что в свое время успел добраться до «тайника» и оставил в сломанной флейте шифрованный наказ, как найти меня на острове, минуя Славск.

Дни стоят жаркие. Гать просыхает. И доктор Климов придет ко мне. Скорей бы!

1 июня 1866 г.

Закончил обход моего хозяйства. Каждый день готовлю к опыту отобранные мною растения. На моем опытном поле особое место занимают два типа растений: одни (на линии посадок «А») отличаются высокой раздражимостью — у них острая, почти мгновенная реакция на внешние воздействия; другие (на линии «С») обладают тайной долготелитя. Они — главные участники опытов.

3 июня

Почему живая природа так могущественна? Потому, что ее развитие, изменение форм происходит постоянно. Непрерывно.

Непрерывность. В чем суть? Человек начинает дело и либо его бросает, либо смерть его обрывает. А природа действует без остановок. Так вот: глядя на природу, я, человек, учился мыслить непрерывно, неотступно об одном и том же. Пусть тюрьма... тайга... пусть полиция за мной гналась... пусть топи и джунгли Гвианы. А я все думал, как отодвинуть смерть на тысячелетие, а может быть, и дальше?

7 июня

Все утро осматривал посадки. А затем наблюдал за мимозой. Я заметил: на холоде листочки ее опускаются, в тепле — поднимаются.

Недавно я нечаянно пролил пузырек эфира на кусты иван-чая. И вот я увидел: куст стал «засыпать», как засыпает перед операцией солдат, когда на его лицо кладут вату, пропитанную эфиром. Напрасно я раскачивал, тормозил куст. Он весь поник, опустил свои ланцетовидные листья, даже ворсинки прижались к стеблю.

Я подумал: надо попробовать помочь кусту — напоить его теплой водой, как больному человеку дать кофе. Но будить осторожно.

Через несколько минут куст стал просыпаться, поднимать листья и головки цветов. Проснулся! Жив, здоров.

Пора врачам лечить растения, как лечат людей. Ведь живая природа едина. И у человека, и у растения жизнь — горение. Поэтому говорю: растение лечит человека, и человек пусть лечит растение.

В наши дни вышли в свет труды индийского ученого по имени Джагдиш Чандра Бос. В первом томе его «Избранных трудов» на странице 407 мы читаем: «Исследуя ответ живых тканей, мы находим, что едва ли существуют явления раздражимости, наблюдающиеся у животных, которые было бы невозможно обнаружить у растений. Показано, что различные проявления раздражимости у растений идентичны с наблюдавшимися у животных... Многие трудные проблемы физиологии животных найдут свое разрешение при экспериментальном изучении соответствующих проблем в более простых условиях жизни растений».

Чтобы прийти к этому выводу, Д.-Ч. Бос с помощью специальных приборов делал интересные опыты, которые позволили ему сопоставить пульсацию растений с деятельностью сердца: «Действие понижения температуры на ритмическую пульсацию растения десмодиум сходно с ее влиянием на сердце лягушки».

Движения листовой пластинки у десмодиума вверх и вниз соответствуют диастолическим и систолическим движениям сердца животного». «Ритмическая пульсация сердечной ткани задерживается, если ее подвергнуть действию определенной низкой температуры. Подобно этому пульсация десмодиума задерживается при действии достаточно низкой температуры».

Сравнивая ткань животного и растения, Бос отмечает, что «изолированная ткань (животного.— В. В.) претерпевает неизвестные изменения, неотделимые от быстрого наступления смерти. Растения имеют громадные преимущества в этом отношении, так как они поддерживают свою жизнеспособность неизменной в течение очень продолжительного времени».

И еще Бос отметил, что растения обладают скрытой энергией. Она позволяет десмодиуму делать движения, которые не вызываются внешними причинами.

И, глядя на эти движения боковых листиков десмодиума, индийский народ создал поверье, что этот «лесной скряга» «танцует, хлопая руками».

Во втором томе, в разделе «Автографы растений» ученый пишет о почерке растений, об отравлении, спазме, сократительных механизмах тканей растений и животных, о кривых жизни и смерти растений.

ШЁНЕР ИЛИ МАГЕЛЛАН?

10 июня

Записки Веригина

Я заметил: стоит насекомому прикоснуться к росянке, как миг один — и росянка его захватила. Миг один! Какая быстрота реакции в этой живой лаборатории!

Кажется, я нашел путь, как готовить рецепт моего лекарства для продления жизни и юности. Я беру растения со свойствами насекомоядных — такие, которые обладают высокой раздражимостью. Из этих растений добываю вытяжку, обрабатываю ее и ввожу в другую живую лабораторию — дерево, которое живет тысячи лет. Проходит некоторое время, и на коре дерева выступает «пот», а на концах его листьев повисают прозрачные капли, похожие на слезы. Я осторожно собираю это драгоценное выделение, в котором сочетаются свойства высокой раздражимости и долголетия. И тут начинается кропотливая работа — приготовление эмульсии для опытов над животными и растениями. Терпение... терпение...

11 июня

Куда ни гляну — во всем вижу участие этого чудесного доктора Платона Сергеевича Климова. Что только не пришлось ему вытерпеть из-за меня! Прослыл безумцем. Его жизнь стала горестной и тяжелой. И я тому причиной. Вот кончу свои опыты — все силы отдам, чтобы согреть жизнь моего единственного друга.

25 июня

Наконец-то! Я, кажется, у цели.
Счастливейший день!

Опыт № 17 (с лягушкой) удался. Результат превзошел мои ожидания. Параллельный опыт и вся серия контрольных подтвердили результат. Подробная запись — в лабораторной тетради № 3. Пора готовиться к опыту над собой.

26 июня

Решено. Для опыта возьму эмульсию из вытяжек А₆ + С₃, как в эксперименте № 17 с лягушкой. Попробую с добавками камфары. Лишь бы не выпал осадок.

28 июня

Сегодня снова спустился с крутого берега острова. В который раз!

И убедился — гать, тропинка-ниточка, которая меня связывает со Славском, с доктором Климовым, уже почти просохла, но у самого острова на полтора сажа — двести сажень — стоит черная вода. Дальше, сколько хватает глаз, гать суха.

Доктор Климов, вероятно, не сегодня-завтра сможет добраться ко мне.

3 июля

Приближается день опыта над собой. Я спокоен. Но все же лучше не быть одному во время такого эксперимента. Жду Платона Сергеевича Климова. Любопытно: останусь ли я Иоганном Шёнером или стану Магелланом?

Магеллан (1480—1521) — один из величайших мореплавателей. Совершил первое в истории человечества кругосветное путешествие. На деле показал шарообразность Земли. И еще. Его суда обогнули Южную Америку и прошли между Огненной Землей и материком (Магелланов пролив).

А Шёнер? Кто такой Шёнер?

До того, как Магеллан прошел пролив (а в те годы никто в Европе не знал о существовании этого пролива), на глобусе, созданном Шёнером, человеком, который никогда и не выезжал из своего тихого немец-

кого городка и, пожалуй, выходил из своего домика не далее как через дорогу в пивной зал выпить кружку пива и составить с друзьями партию в кегли,— на глобусе этого Шёнера пролив изображен со всей четкостью и ясностью.

И Магеллан в своих проектах ссылается на глобус Шёнера.

Но как, каким образом догадался Шёнер о существовании пролива, которого никто не знал (и он тоже)?

Эту загадку пытались разгадать и великий Гумбольдт и другие ученые. Вот к какому выводу они пришли.

Пролив этот был очень нужен, поэтому Шёнер задолго до путешествия Магеллана изобразил его на своем глобусе. Мечта о таком проливе создала догадку. И вот эту-то догадку Шёнер и обозначил на своем глобусе.

Теперь о Веригине.

Веригин собирался провести эксперимент на себе. И раздумывал. Его фразу о Шёнере и Магеллане надо, как мне кажется, понимать так; либо его эксперимент над самим собой станет догадкой (как неизвестный пролив на глобусе Шёнера), либо он, Веригин, станет первооткрывателем, как Магеллан.

МЕДНЫЙ ПЯТАК 1855 ГОДА

7 июля 1866 г. Остров Бережной

Записки Веригина

Невольно думаю: те, кто некогда делали опыты над собой, были среди людей. А я — один, Доктора Климова нет.

Небо безоблачное, Солнце работает на меня: жарко, знойно.

8 июля

Какое несчастье! Всю ночь лил дождь. Тропинка к острову потонула — гать снова залита. Неужели ждать, пока сойдет вода? И сколько же еще ждать?

10 июля

Эмульсия для опыта над собой готова. Стоит на холоде. Снова жара. Бездельничаю. Ни за что не хочется браться.

Смешная мысль: а что, если после инъекции я представу в каком-то ином виде? Не узнанный никем, я появлюсь в давно знакомых местах. Свободный от преследований полиции, я продолжу свои научные поиски там, где мне вздумается.

И радость моих открытий — тайна вечной юности, тайна вечного здоровья — станет достоянием людей.

12 июля

Гать не просыхает. Ждать больше не могу. Готовить эмульсию в моих условиях не так-то просто. А от жары она придет в негодность через двое суток.

13 июля, 6 часов утра

Все готово к инъекции.

Ходил к обрыву. Все то же. На подступе к обрыву — вода. Кругом — никого.

Делать нечего, Больше ждать нельзя. Через тридцать минут приступаю к опыту над собой.

Так доктор Климов и не смог добраться сюда. Жаль! Буду поминутно вести дневник.

Я прервал чтение и в волнении вбежал в дом. Крысы, испуганные и озадаченные моим появлением, разбегались, метались по комнате, задевая осколки колб и реторт.

На краю стола лежал глиняный кувшин. Из горлышка с отбитым краем торчали иссохшие, изогнутые тоненькие стебельки.

Не собирал ли Веригин нежный вереск — лиловый и лилово-розовый?

Рядом с опрокинутым глиняным кувшином лежал темный позеленевший медный пятак. Не обращая внимания на возню разбегающихся крыс, я смотрел на пятак 1855 года.

Его держал когда-то в руках испепеленный своими поисками зачарованный отшельник,

И вдруг во мне зазвучал мотив «Ирландской за-
стольной» Бетховена:

Миледи смерть! Мы просим вас
За дверью обождать.
Сейчас нам будет Бетси петь
И Дженни танцевать!

Я опустил в карман медный пятак 1855 года.
Вышел на крыльцо, поросшее травой. И стал читать.

ОПЫТ НАД СОБОЙ СДЕЛАН

13 июля 1866 г., 10 часов утра

Записки Веригина

Опыт сделан. Записываю. Вижу: почерк мой совсем не похож на мой почерк. Словно другая рука писала. Пульс слегка учащенный. Дыхание усиленное. Слабый пот по всему телу. В ушах удивительный звон — какой-то радостный, светлый. Сознание ясное.

Полосы! Гигантские прозрачные покрывала, голубые, зеленые, оранжевые, плывут перед глазами, сменяют одно другое. И через такие занавеси мир выглядит всё новым и новым. На какой-то миг перед глазами проплыл бело-снежный занавес. Вдруг небо потемнело. Пошел дождь. Странное дело! Я отличаю каплю от капли. Я вижу, как эти капли складываются в длинные струи. Еще миг — и все-все кругом утопает в веселом густом голубом свете. Он такой густой, что хочется тронуть его рукой.

А чудесный звон в ушах все сильнее. В едином ритме с ним пульсирует кровь в венах. И тоже словно звучит. Веселая семицветная радуга спустилась с неба на остров. Сердце переполнено радостью, восторгом. Мне хочется петь.

Мне неудержимо хочется петь, играть на флейте...

Дивный звон в ушах и в крови стал затихать. Вот и хорошо: я и впрямь чуть устал.

11 часов 15 минут. Однако же как тяжела стала моя голова! Снова перед глазами дождливый занавес.

Отличаю каплю от капли.

Голова кружится. Руки слабеют. Но сознание ясное. Я четко различаю: по подоконнику ползет муха — одна,



другая. Руки не слушаются. Все тело свинцовое. Спать... Спать!

11 часов 30 минут. За... сы... паю.

Жаркий полдень. Значит, я спал! Сколько? Сутки? Неделю? Или час? Не разберу.

Какой прилив сил! Как я голоден! Когда я ел в последний раз?

Так вот где тайна Мефистофеля — Фауста! Вот как решается сказка о живой и мертвой воде! Ура! Скорее к доктору, к людям!

Хлынул дождь, настоящий ливень. Как быть?

Делаю последнюю запись. Уберу все самое нужное и дорогое в печь. Закрою заслонку. Завалю кирпичами.

Попытаюсь пробраться к доктору. Возьму длинные жерди...

Крик! Что за крик? Почудилось? Нет! Неужели доктор добрался до меня? Иду!

— Иду, доктор, иду, иду-у-у! — крикнул Веригин, приложив ко рту ладони, сложенные рупором.

«Иду-у-у!» — повторило эхо.

Впрочем, эти строки не записаны в дневнике Веригина. И что с ним случилось, неизвестно.

...Далекий долгий протяжный гул. Нарастает все ближе. Вертолет.

Вертолет — за мной!

Бережно держа одной рукой раскрытый портфель с лягушкой, а другой — пачку книжек Веригина, я отбежал от бревенчатой хаты.

Но я еще вернусь!

НЕ ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ, А СЕГОДНЯ

На маленькой улице в Москве уже светает. Ночную тишину разгоняет привычный знакомый шум большого города. А я все еще чувствую себя на острове среди глухих болот, и все еще глядит на меня в пустые проемы окон развалившейся хаты бледно-голубое небо с серенькими облачками. Постукивая ветками, гуляет по хате ветер... Бетховенский вызов смерти, вызов, который мне вспомнился там, на острове, под визг крыс и звон разбитых колб и склянок, звучит, все звучит в ушах,

Да! Уже пять дней, как я в Москве. И нет мне покоя. С этим Веригиным и я сам чуть не стал заколдованным искателем. Шел по следам Веригина. Был на острове в болотах. Отыскал его последнее пристанище. Собрал те остатки записей, что пощадили время, крысы, зимний холод и летний зной. В Москве разобрал, отредактировал, дал в перепечатку, отнес в редакцию журнала «Бюллетень естествознания и фантастики».

Но почему так смутно на душе? Словно я что-то не доделал, не выполнил какого-то обязательства. Веригин жил сто лет назад. Он ведь не ждет меня, не зовет на помощь. А может быть, надо еще что-то сделать? Но что?

Так много дел в Москве. И все неотложные.

Итак, я выберусь в Славск только через три дня.

...Вечер. Семь часов. Телефон молчит. Я не знаю, куда себя девать. Все ни к чему: все серо и бесцветно. И надо только одно: слетать на остров среди болот, где жил Веригин. Продолжить поиск.

Звонок по телефону. Из редакции:

— Экспедиция на остров Бережной вылетела.

— Уже! Когда?

— Час назад. А вы когда отбываете?

— Я лечу через три дня. А впрочем, попытаюсь сегодня же.

Звоню на аэродром. В справочное.

Девичий голос, звонкий, со смешинкой, отвечает:

— Самолет отлетает в пять часов утра.

— У меня билет на двадцатое октября. Хочу вылететь ближайшим рейсом — в пять утра. Но как сделать... Боюсь — приеду на аэровокзал, а билетов не будет.

— Очень нужно?

— Очень. Иду по следам человека, искавшего бессмертия.

К счастью, дежурная поняла мои слова на свой лад:

— А! Понимаю: жизнь человека в опасности! Кому-то нужна медицинская помощь. Вы боитесь — приедете на аэровокзал, а билетов не будет?

— Спасибо за понимание.

— Направляю билет с посылным. Сейчас от аэровокзала отходит автобус-экспресс с пассажирами. Ждите посылного. Ему же отдадите билет на двадцатое октября. Дайте адрес.

Диктую:

— Ленивка, дом...

— Вы не шутите? Действительно такое название улицы — «Ленивка»?

— Конечно. Маленькая такая, всего четыре дома. У Волхонки.

— Хорошо. Ждите.

И я жду. Чемодан уложен. Жду. Я уж вижу себя в самолете. Утро меня застанет в пути. Будет мирно, ритмично стучать сердце самолета. И спокойно будет биться мое сердце.

ЯРКАЯ ВСПЫШКА СВЕТА

Одиннадцать часов ночи. Я жду посыльного с билетом на самолет. Прогрунул за окном дождик. Смолк. Иссохшие вьюнки и душистый горошек уже не тянутся из своих ящичков за окном. Но их оголенные стебли все еще обвиваются вокруг ниточек. Луна бросает свои отблески на серые стены дома, что на той стороне улочки. Луна смотрит, как отблески будут перемещаться по стенам. Луна смотрит, ждет...

Ожидание...

По ту сторону улицы у подъезда дома, что построен из силикатного кирпича, стоит юноша. Он ждет. Какой нелепо широкий на нем пиджак! А брюки узенькие. Какие скованные движения! Ждет...

Жду и я. Маюсь. Не знаю, чем унять душевное смятение. И, чтоб занять себя, думаю об ожидании.

Как много на свете ожиданий! Есть ожидание нечаянной радости; есть ожидание неожиданностей. А сегодня в троллейбусе — разговор двух школьниц: «Что лучше — иметь и потерять или ждать и не дожидаться?»

Часы отстукивают время. На улице фонари погашены. Различит ли посыльный номер квартиры? Откидываюсь на кресло с деревянными резными детскими головками, выглядывающими из-за поручней. Закрываю глаза.

Тсс... кажется звонок — принесли билет на самолет. Нет, будильник у соседа за стеной зазвонил.

Но почему, собственно, я так спешу? Ведь тысячелетняя молодость, которую пытался открыть Веригин, — чудо, которое даже не приснится. Невероятное чудо.

Что за длинный, дребезжащий звонок? А, это ночной сигнал в дежурном магазине на углу. Проверка.

О чем я только что думал? Да! О чуде веригинского поиска. Так вот, о чуде...

И я чувствую, что у меня не хватает воображения, чтобы представить себе чудо тысячетлетней жизни и непроходящей юности. И вдруг ловлю себя на мысли: Веригин овладел этой тайной. Он жив, и я его увижу.

Резкий звонок. Я кричу: «Дмитрий Веригин!» Вскикиваю, распахиваю дверь.

На темной площадке стоит высокий молодой человек.

— Веригин! — восклицаю я. — Дмитрий Веригин... — и за руку ввожу человека в дом.

— Дмитрий-то Дмитрий, но не Веригин, а Чашечкин, — раздался усталый, монотонный голос.

И тут я разглядел: серый длинный плащ, форменная фуражка, на козырьке — капли дождя, продолговатое лицо, утомленные глаза, прикрытые большими очками.

— Билет на самолет. Распишитесь и оплатите, — продолжал усталый голос. — Едва нашел. Лестница у вас темная, лампочка на лестничной площадке перегорела.

— Я ввинчу другую... В сто свечей.

Но лампочки под рукой не оказалось. Я поспешно зажег свечу. И держал ее над пролетом лестницы. А посылный, скользя рукой по шатким перилам, медленно спускался по ступенькам. Его серый плащ все больше сливался с темнотой...

Звук шагов становился тише. Грохнула нижняя дверь. Электрическая лампочка быстро нашлась.

Яркая вспышка света. И цветы, которые крепко спали в своих горшках на лестничной площадке, проснулись. Насторожились. Стала видна каждая соринка на лестнице. И даже окурочка сигареты человека в сером плаще, брошенный на нижней ступеньке.

Я почему-то медлю. Жду. Чего? Кого?

Жду... И сердце колотится. Словно на нашей милой планете уже отыскалось утерянное некогда тысячелетие человеческой жизни... Словно сейчас по ступенькам легкой походкой взбежит мне навстречу сам Дмитрий Веригин.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книга В. Брагина «Искатель утраченного тысячелетия» скорее приключенческая, чем научно-фантастическая, хотя ее герой посвятил свою жизнь поискам гипотетического «эликсира молодости». Поэтому для читателя важнее почувствовать благородную целеустремленность героя, войти в его жизнь, отданную служению свободе и науке, чем разбираться в «методе» долголетия. Тем не менее следует сказать несколько слов о существе дела, чтобы у читателя не возникло неправильного суждения о том, что поиски науки лежат на пути переноса долголетия от растений к людям.

Известно, что не все растения живут так долго, как секвойя или баобаб, — большинство деревьев живет менее ста лет, а травянистые растения часто живут несколько месяцев. С другой стороны, и некоторые животные могут жить долго, не одну сотню лет, например гигантские черепахи. В мире животных человек по долголетию занимает неплохое место, большинство живет гораздо меньше. Причина, по-видимому, в том, что природа обеспечивает каждому виду животного или растения тот «запас прочности», который необходим для сохранения вида. Мышь живет всего два года, но за это время успевает произвести несколько десятков мышат. До взрослого состояния из них удастся дожить одной-двум. Слоны живут много десятков лет, и у них за это время рождается несколько слонят, но до взрослого состояния доживает тоже один-два. Если бы было иначе, мир давно уже был бы заполнен мышами или слонами или же, наоборот, остался без них.

И все-таки, почему некоторые деревья живут так долго? Растения устроены проще нас — у них почти нет незаменимых, не обновляемых органов. У растений появляются новые листья, обновляются клетки коры, возникают новые корни. Веточка, иногда даже кусочек листа могут дать начало растению. Почти так же ведут себя простейшие многоклеточные животные — гидры. Но иначе обстоит дело у сложноорганизованных животных и у человека.

Многие клетки и ткани у человека все время обновляются — образуются новые клетки крови, заменяются клетки кишечника, слущиваются поверхностные клетки кожи. Однако, как это было совсем недавно установлено, и эта возможность к делению не беспредельна: полагают,

что нормальные клетки человека могут делиться не более пятидесяти раз. Но многие важные органы человека, и в первую очередь его мозг, не обновляются совсем — нервные клетки делиться не способны. И это хорошо. Если бы нервные клетки мозга начали делиться, между ними нарушилась бы связь, и мы, вероятно, забыли все, что знаем. Но неделящиеся клетки это и нехорошо — с возрастом часть из них погибает, а новые на их место не приходят. В результате опять-таки нарушается память, мозг не так быстро работает, не так четко регулирует работу всех органов. Многие ученые полагают, что старость — это в первую очередь старение мозга.

Человеку в течение всей его жизни служат одни и те же сосуды. С годами они стареют, становятся хрупкими, не выдерживают больших давлений крови. Бесперывно работает сердечная мышца, но и она в конце концов начинает уставать. Очень важной для жизни человека является его способность вырабатывать иммунитет — защищаться от вредных белков, которые вносят в организм микробы. Способность к самозащите с возрастом постепенно уменьшается. Эти причины, а также многие другие и составляют то, что мы называем старением. Миллионы лет назад, когда в процессе эволюции создавался человек, строение его организма, вероятно, обеспечивало ему жизнь в течение 60—80 лет. Но большая часть людей умирала значительно раньше — в 20—30 лет. С тех далеких времен условия жизни улучшились. Теперь большинство людей доживает до установленного эволюцией возраста — 60—80 лет.

Но значит ли это, что продлить нашу жизнь нельзя, что возраст человека достиг предела? Конечно, нет. Уже сейчас много делается для того, чтобы все люди жили дольше и, главное, чтобы не было бессмысленной и неоправданной смерти в детстве и в молодом возрасте от плохого питания и болезней. Следующий шаг труднее. Мы должны понять механизмы старения во всех их деталях и тогда бороться с ними. Итак, перед биологами и медиками, изучающими механизмы старения, открыто большое поле деятельности. Но для того чтобы изучить старость и победить ее, продлить жизнь людей на десять лет или хотя бы на год, надо обладать той любовью к науке, верой в ее возможности, той самоотверженностью, которыми отличался Беригин, герой книги В. Брагина.

Доктор биологических наук А. Нейфах

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Виктор Шкловский. Поиски невозможного</i>	5
<i>Часть первая. ПРОДЕЛКА СОЛНЕЧНОГО ЗАЙЧИКА</i>	7
<i>Часть вторая. ПОТЕРЯННАЯ МЕЛОДИЯ</i>	49
<i>Часть третья. КАРЛСБАДСКИЙ ПОРТФЕЛЬ</i>	77
<i>Часть четвертая. СТРАННАЯ ИСТОРИЯ</i>	89
<i>Часть пятая. ОЖИВШАЯ МЕЛОДИЯ</i>	120
<i>Часть шестая. ПОДВАЛ ЧАЯНИЙ И НЕДОРАЗУМЕНИЙ</i>	158
<i>Часть седьмая. ФЛЕЙТА ФРАНЦУЗА</i>	177
<i>Часть восьмая. РАЗГАДКА ШИФРА</i>	197
<i>Часть девятая. «ДРУГОЙ СПОЕТ ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ»</i>	218
ПОСЛЕСЛОВИЕ	238

Для среднего и старшего возраста

Владимир Григорьевич Брагин

ИСКАТЕЛЬ УТРАЧЕННОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Фантастическая повесть

Ответственный редактор *Г. А. Иванова*
Художественный редактор *А. В. Пащина*
Технический редактор *Г. В. Лазарева*
Корректоры *Г. В. Русакова* и *Н. А. Сафронова*

Сдано в набор 11/IV 1974 г. Подписано к печати 9/VIII 1974 г. Формат 84×108^{1/32}. Бум. типогр. № 2. Печ. л. 7,5. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,6. Тираж 100 000 экз. А03905. Заказ 2595. Цена 52 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Суцеский вал, 49.





52 коп.